Н. А. НЕКРАСОВ.

Каменное сердце

(ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО)

Издание второе, исправленное и дополненное.

Под редакцией и со вступительной статьей К. И. ЧУКОВСКОГО.



ПЕТЕРБУРГ
1922

Н. А. НЕКРАСОВ.

Каменное сердце

(ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО)

Издание второе, исправленное и дополненное.

Под редакцией и со вступительной статьей К. И. ЧУКОВСКОГО.

Издательство «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
ПЕТЕРБУРГ
1922

Настоящее издание отпечатано в количестве двух тысяч экземпляров в 5-ой Государственной типографии.

Р. В. Ц. № 1449.

ДОСТОЕВСКИЙ И КРУЖОК БЕЛИНСКОГО

по новонайденным «Запискам» Некрасова.

Вступительный очерк К. ЧУКОВСКОГО.

I.

Как-то весною 1845 года Белинский увидел из окна своего приятеля Анненкова и закричал:

— Идите скорее, сообщу новость!...

В руках у Белинского была большая тетрадь. Едва Анненков вошел в комнату, Белинский, после обычных приветствий, сказал:

— Вот от этой самой рукописи, которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это—роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков об'ем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, т. е. не подозревая и сами, что у них выходит [1]).

И критик с необычайным пафосом стал читать отрывки из новой повести—«Бедные Люди» неведомого автора, Ф. М. Достоевского.

Вечером к Белинскому явился Некрасов, молодой ярославец, альманашник, водевилист и поэт. Белинский с первых же слов закричал:

— Давайте мне Достоевского. Приведите, приведите *его* скорее! [2]).

И повторял, что «Бедные Люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет дальше Гоголя.

Белинский восхищался до истощения сил. Он был уже влюблен в Достоевского, хоть и не видел его; говорил о нем с материнской нежностью,

---

[1]) П. В. Анненков. «Литературные Воспоминания». СПБ. 1909, стр. 290.

[2]) И. И. Панаев. «Литературные Воспоминания». СПБ. 1888, стр. 312.— Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПБ. 1906, т. XI, стр. 30.

и скоро весь его кружок знал о появлении нового гения. По Невскому так и носился на всех парусах добрейший и пустейший Панаев (в ослепительном жилете от самого Оливье) и трезвонил:

— Новый, удивительный талант! Белинский говорит: выше Гоголя... Только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу [1]).

И несся дальше, чувствуя себя именинником. А с ним его двойник Григорович, вертлявый полуфранцуз, обаятельный сплетник [2]), перепархивал из ресторана в кондитерскую:

— Новый Гоголь... величайший талант. Я же его и открыл... Мой школьный товарищ... Зовут: Достоевский.

И рассказывал, что он и его приятель Некрасов, прочитав эту повесть, кинулись к автору ночью, не могли потерпеть до утра, стали обнимать его, что теперь эта повесть дошла до Белинского, который от нее тоже в восторге...

И вот, наконец, совершилось: Достоевского привели к Белинскому.

По словам Достоевского, Белинский встретил его важно и сдержанно. «Но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось... Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете-ль сами-то, повторял он мне по несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению, — что это вы такое написали?.. Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали».

Критик не уставал изумляться бессознательной мудрости художников:

— «Вы до самой сути дотронулись, — говорил он молодому Достоевскому, — самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась

---

[1]) И. И. Панаев. Полное собрание сочинений. СПБ. 1889, т. V, стр. 4.

[2]) «Это бессердечный мелкий сплетник и лгун»,—писал позже Тургенев о Григоровиче «Письма И. С. Тургенева к графине Ламберт». М. 1915, стр. 104—107. Таковы-же отзывы Панаевой, Некрасова и др.

как дар, цените-же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!» [1]).

Достоевский был опьянен своей неожиданной славой. Он и через тридцать лет, перед смертью, вспоминал этот миг с упоением. «Я остановился на углу его (Белинского) дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом на веки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель). «И неужели вправду я так велик?»—стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге.—«О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди!».

— «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни»,— свидетельствует он на склоне лет.—«Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом».

II.

После знакомства с гениальным писателем восторги критика возросли еще более. Даже наружность его нового идола казалась ему умилительной. Достоевский был невысокого роста, худенький,—даже это нравилось Белинскому:

— «Не велика птичка,—и тут он указывал рукою чуть не на аршин от полу:—не велика птичка—а ноготок востер!..» сообщал он приятелям, и те удивлялись немало, встретившись, наконец, с Достоевским и увидев, что сам Белинский не выше, а ниже его. Но такова была отеческая нежность к таланту.—«Белинский относился к нему, как к сыну, как к своему «дитятке» [2]).

— «Он... видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих,»—объяснял его любовь Достоевский [3]).

И действительно, Белинский увидел в «*Бедных Людях*» то, что ему хотелось увидеть: первый социальный роман. Белинский давно мечтал о социальном романе, вскрывающим язвы тогдашнего рабьего общества, и ему почудилось, что роман Достоевского именно к тому и стремится. Тут была роковая ошибка. Стремления Достоевского были иные. Достоевский, несмотря

---

[1]) Полное собрание соч. Ф. М. Достоевского. СПБ. 1906, том XI, стр. 30 и 31.
[2]) Полное собрание соч. И. С. Тургенева. СПБ. 1898, т. XII, стр. 48—49.
[3]) Полное собрание соч. Ф. М. Достоевского. СПБ. 1883. Письма. Стр. 39.

на свою молодость, понял, что критик принимает его за кого-то другого, любит в нем то, чего в нем нет. Но даже Достоевский был не в силах предвидеть, что эта основанная на ошибке любовь неизбежно превратится в ненависть.

Первые триумфы Достоевского относятся к маю—июню 1845 года. Наступило летнее затишье. Скоро столица опустела. Достоевский уехал в Ревель поделиться своей радостью с братом, но к осени вернулся обратно, к новым дифирамбам и хвалам. Прошло уже полгода с тех пор, как Белинский объявил его гением, а восторги не угасали. Григорович все так же носился по городу, всюду прославлял его. «Je suis votre claqueur-chauffeur»,— говорил он сам Достоевскому.

— «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь»,—писал Достоевский брату в Ревель.— «Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное... Все меня принимают, как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать... Белинский любит меня как нельзя более... Откровенно тебе скажу, что я теперь почти упоен собственной славой своей» [1]).

Конечно, он знакомится с бездной народу «самого порядочного»: «Князь В. Ф. Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а Граф В. А. Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев об'явил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне *достать Достоевского?* Краевский, который никому в ус не дует и режет всех на пропалую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести осчастливить вас своим посещением. Оно и действительно так: аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки»; приехавший из Парижа Тургенев, «красавец, аристократ и богач» [2]), привязался к нему всей душой. «Эти господа уж и не знают, как любить меня: влюблены в меня все до одного».

Но неужели никто не почувствовал, что такие триумфы для Достоевского —удары кнута? Внезапная слава, налетев на него, закружила его и

---

[1]) Полное собрание соч. Ф. М. Достоевского, СПБ. 1883. Письма. Стр. 39, 41 и 42.

[2]) Достоевский ошибся: Тургенев терпел в ту пору большую нужду. В статье «Молодость Тургенева» Анненков говорит, что в сороковых годах до ноября 1850 года «Тургенев представлял из себя какое-то подобие гордого нищего», что даже на службу он поступил «гонимый нуждою».

швырнула сразмаху о камни. Нужна будет сибирская каторга, чтобы исцелить его от тяжелых ушибов, которые принесла ему слава. Триумфы не для подпольных людей. Они обидчивы, как горбуны или карлики. Угрюмые мечтатели, одинокие до одичания, бешено влюбленные в себя придирчивой, ненасытной любовью, — они самое счастье свое ощущают, как рану. Хорошо было Гончарову, что восторги Белинского обрушились на него тогда, когда ему шел четвертый десяток: он был забронирован от всяких катастроф и чрезмерностей. Но Достоевский, еще безусый, больной, с зачатками падучей болезни,—не мог же он нести свою славу весело, легко и посвистывая, как какой-нибудь Жан Панаев. Должен же он был ощущать и в те ранние годы свой пророческий дар, свою богоизбранность и единственность. Носил же он в душе прообразы будущих образов, предчувствия будущих чувств. Имел же он право взирать на себя с уважением. Анненков зорко подметил, что внезапный успех сразу оплодотворил в Достоевском те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе.

Но большинству окружающих показалось, что он просто зазнался, и они стали потешаться над ним. «Эх, самолюбие мое расхлесталось!—жаловался он сам брату Мише.—У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие». Но совладать с этим пороком не мог. И действительно, на поверхностный взгляд, все его тогдашние письма—сплошное самохвальство:

— «Мой роман... произвел фурор!».

— «Я чрезвычайно доволен романом моим, не нарадуюсь».

— «Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d'oeuvre. Тебе он понравится даже лучше «Мертвых Душ».

— «Гоголь не так глубок, как я».

— «Первенство за мной, и надеюсь, что навсегда».

Хлестаковство небывалое, но поверхностные люди не хотели заметить, что тотчас же, через несколько дней, Достоевский о том же своем Голядкине писал:

— «Скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется» [1]).

Они не заметили, что за этим взрывом чрезмерного самовосхищения следует у него такой же припадок мучительного недоверия к себе, что здесь для него—жизнь и смерть; что, не удайся ему повесть, он, пожалуй, убил бы себя:

— «А не пристрою романа, так, может-быть, и в Неву! Что же делать? Я уж думал об этом! Я не переживу смерти моей idée fixe!».

---

[1]) „Письма“ Достоевского etc, стр. 33, 36.

— «Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь».

Этого не знали, а знали одно: Достоевский зарвался.

Панаев еще не истоптал башмаков, в которых носился по Невскому, трубя о его гениальности, а уж торопился шепнуть каждому:

— Вы слыхали?.. Наш Достоевский...

И рассказывал странные вещи: приходит, будто, Достоевский к издателю и требует, чтобы его новая повесть была непременно напечатана в рамке; иначе он не согласен печататься. Обведите каждую его страницу черным бордюром, каймой—в отличие от других повестей, чтоб, не дай Бог, его не смешали с гр. Соллогубом или Евг. Гребенкой. А Тургеневу он, будто бы, прямо сказал: дайте мне время, я вас в грязь затопчу... и т. д., и т. д., и т. д. [1]).

Но неужели не нашлось никого среди этих лучших людей, кто пожалел бы его? Пусть ни один из его недавних хвалителей не мог и отдаленно предчувствовать, какая таится в нем душа, пусть все они видели в нем только больного маньяка, но тем более жестока их травля. Пасквилем, сплетней, насмешкой, эпиграммой, карикатурой они терзали его день изо дня. «Тогда было в моде предательство»,—вспоминает П. В. Анненков. Жить общественными интересами еще не привыкли в ту пору, и даже лучшие люди отдавали столько души дрязгам своего муравейника. Кляузы, пересуды, подвохи доходили до грандиозных размеров в тогдашних литературных кругах. Развращенное рабством общество заражало своими болезнями даже лучших своих представителей.

Но не смеялся же никто над Бальзаком, когда тот называл себя Маршалом Французской Словесности и возвещал громоносно:

— Поздравьте меня, я уже близок к тому, чтобы сделаться гением! и каждую свою строчку откровенно величал шедевром. Бальзак был здоровяк и горлан, а Достоевский — неужели никто не почувствовал, сколько в его гордыне страдания?

— «Я тщеславен так, будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно»,—жаловался человек из подполья.

Весь он—голая рана, а его — кипятком! «Здоровье мое ужасно расстроено; я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической»,—

---

[1]) Об этой черной рамке, которой Достоевский будто бы требовал для „Бедных Людей“, создалась целая литература. О ней писали и Григорович, и Анненков, и Панаева-Головачева, и Панаев. Панаев даже превратил ее в золотую. Должно быть что-то такое было, если все, словно сговорившись, вспоминают одно и то же.

жалуется он в тогдашнем письме, но его не щадят, мстят ему за свой недавний восторг. Особенно жесток был Тургенев: он умел дразнить, как никто.

«Тогда было в моде некоторого рода предательство, состоящее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей, что возбуждало смех... Тургенев был большой мастер на такого рода представления. Он составлял весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени» [1]).

Григорович вспоминает то же самое:

— «Тургенев был мастер на эпиграмму... Для красного словца он... не щадил иногда приятеля» [2]).

Тургенев рассказывал, например, при Достоевском о каком-то ничтожном, захолустном человечке, который вообразил себя гением и сделался общим шутом. Достоевский трясся, бледнел и в ужасе убегал, не дослушав [3]). Как, должно быть, больно было ему читать злое послание Тургенева, написанное от лица Белинского:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, юный пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Некрасов, тот самый, который прибежал к нему ночью, чтобы выразить накипевший восторг, теперь потешался над ним. Он сочинил вместе с Тургеневым стишки, где, вышучивая курносого гения, звал его чухонской звездой; уверял, что сам турецкий султан, прочтя его новую повесть, вышлет за ним визирей:

Хоть ты новый литератор,
Но в восторг ты всех поверг:
Тебя знает император,
Уважает Лейхтенберг.

— «Я разругал Некрасова в пух»,—сообщает, наконец, Достоевский.— «Некрасов меня собирается ругать (в «Современнике»)»... «Я имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова»... [4]).

---

[1]) «Литературные Воспоминания» П. В. Анненкова, СПБ. 1909, стр. 479 – 480.

[2]) Полное собр. соч. Д. В. Григоровича, СПБ. 1896, стр. 334.

[3]) А. Я. Головачева-Панаева. «Русские писатели и артисты». СПБ. 1889, стр. 160.

[4]) Полное собр. соч. Ф. М. Достоевского, СПБ. 1883. Письма, стр. 58.

И жутко читать в мемуарах Панаевой, как однажды автор «Бедных Людей» выбежал из кабинета Некрасова, бледный, как снег, и так дрожал, что никак не мог попасть в рукав пальто, которое подал ему лакей. Наконец, вырвал пальто и выскочил с ним на лестницу, не надев.

— «Достоевский просто сошел с ума,—сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом.—Явился ко мне с угрозами, чтоб я не смел печатать мой разбор на его сочинения в следующем нумере. И кто ему наврал, будто я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах... До бешенства дошел» [1]).

Не прошло еще года после выхода «Бедных Людей», а уж все его хвалители-claqueur'ы были его лютые враги. Об одном лишь Белинском он писал:

— «Только с ним сохранил я прежние добрые отношения. Он человек благородный» [2]).

Достоевский не догадывался, что в это самое время не знающий середины Белинский, разочаровавшись в его дарованиях, сообщает злые анекдоты о каких-то его шинелях, калошах, о том, как он кого-то «надул», «подкузьмил».

— «Вот вам анекдот об этом молодце»...—пишет Белинский в ту пору приятелям.

— «Кстати, чуть-было не забыл—презабавный анекдот о Достоевском»...

Еще через несколько времени Белинский писал еще резче:

— «Достоевский славно подкузмил Краевского: напечатал у него первую половину повести, а второй половины не написал, да и никогда не напишет. Дело в том, что его повесть до того пошла, глупа и бездарна»...

— ...«Повесть «Хозяйка»—ерунда страшная!.. Каждое его новое произведение—новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных Людях». Надулись же вы, друг мой, с Достоевским—гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате» [3]).

И не только в частных письмах, но и в печатной статье говорил о «*Хозяйке*»: «Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова

---

[1]) Воспоминания А. Я. Головачевой-Панаевой. «Русские писатели и артисты». СПБ. 1890, стр. 201.

[2]) Полное собр. соч. Ф. М. Достоевского. Том первый. Письма. СПБ. 1883, стр. 58.

[3]) В. Г. Белинский. Письма. СПБ. 1914, том III, стр. 176, 180, 286, 288, 296, 297, 338 и след.

и выражения: все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно, фальшиво» [1]).

Так и умер Белинский с уверенностью, что «этот молодец» их надул, что он жалкий, смешной и маленький; никто не предвидел, что «этому молодцу» суждена всемирная слава. Для всей плеяды Белинского он остался до конца жизни чужим: должны были исполниться какие-то сроки, чтобы лишь внуки и правнуки тех, кого он взбудоражил своей первой повестью, поняли, мимо какого высокого трагика их деды прошли, как слепые.

III.

Появление «Бедных Людей» было таким заметным событием в истории русской общественности, что воспоминаний о нем сохранилось сравнительно много.

То, что я сейчас рассказал, известно по прежним мемуарам, уже всеми прочитанным,—мемуарам Тургенева, Григоровича, Анненкова, Панаева, его жены Eudoxie, да и самого Достоевского, по их письмам, дневникам и т. д.

Но есть еще документ, до сих пор никому неизвестный, где рукою отличного мастера изображены,—хоть и не совсем беспристрастно,—все детали рокового события. Теперь этот документ перед нами: выцветшая, шершавая рукопись. Автор ее—Некрасов. Как не взволноваться, когда вдруг, словно из могилы, услышишь голос такого свидетеля. Правда, в рукописи нет ни начала, ни конца, все какие-то клочки, но и эти клочки—драгоценность: в них великий поэт повествует о своих замечательных современниках, о Белинском, Тургеневе, Боткине и, главное, о молодом Достоевском. В его повести под видом каких-то Мерцаловых, Балаклеевых, Решетиловых, Чудовых движутся и живут пред читателем славнейшие тогдашние деятели.

Сначала я не догадался, в чем дело: когда я розыскал эту повесть в старых бумагах Некрасова, среди его неизданных стихов, корректур, черновиков и писем, мне показалось, что предо мной беллетристика, самая обыкновенная повесть о каком-то смешном Глажиевском, авторе «Каменного сердца»; но достаточно было прочитать две страницы, чтобы понять, что этот Глажиевский—Достоевский. Несомненно, он! Весь, как вылитый! Глажиевского зовут Осип Михайлыч, а Достоевского—Федор Михайлович,—только в этом, пожалуй, и разница. Даже в возрасте полное тождество: Достоевскому, когда

---

[1]) В. Г. Белинский. „Собр. сочинений". СПБ. 1919, том III, стр. 999.

он писал свою повесть, было двадцать четыре года, и Глажиевекому—двадцать четыре. Даже обедает он в Hôtel de Paris, излюбленном ресторанчике самого Достоевского, где, помните, так мучительно ужинал его «Человек из подполья» [1]). Все, все передано до последней черты. Даже словечко, которое изобрел Достоевский, вложено здесь в уста Глажиевскому; это словечко—глагол «стушеваться», о нем, помните, Достоевский писал в «Дневнике».

— Ввел и употребил это слово в литературе в первый раз я.

А Некрасов в своей повести пишет:

— Слово «стушеваться» изобрел Глажиевский.

Вся мнительность автора «Бедных Людей», все надрывное его самолюбие переданы с безжалостной точностью. Даже то, как он в те ранние годы стыдился лица своего и боялся насмешек над своею наружностью, зафиксировано в Некрасовской повести.

Человек из подполья писал:

— «Проклятая Олимпия! Она смеялась над лицом моим»... — «Они цинически смеялись над моим лицом, над мешковатою фигурой».—«Лицо мое мне показалось до крайности отвратительным... Я часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, ненавидел свое лицо»...

И у Некрасова Глажиевский боится показаться на глаза знаменитому критику, чтобы «своей физиономией не разрушить эффект своего произведения».

«Подобный страх был довольно основательным»,—язвительно замечает Некрасов, который, как мы знаем, еще раньше в стихах смеялся над наружностью Достоевского, над его глазами и носом.

Так и видно, что смышленный, по-молодому насмешливый делец-ярославец успел по-своему за эти два года разгадать запутанную душу своего мрачного друга.

Это раздражает Глажиевского. В повести Некрасова он именно тем раздражен, что для Чудова в его поведении нет ни загадок, ни тайн. Точно также Человек из подполья:

— «Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знал меня наизусть».

Вообще весьма знаменательно, что, желая изобразить Достоевского, Некрасов невольно изобразил героя его «Записок из подполья», тогда еще не написанных.

---

[1]) На Малой Морской, возле Невского.

Те страницы, где Некрасов приводит свои разговоры с новоявленным гением, полны слишком здорового, ярославского, почти крестьянского юмора: так обыкновенно крестьяне рассказывают о нервических капризах господ, психология которых им непонятна.

Ценно сообщение об обмороке, который был с Достоевским в пору писания «Бедных Людей». До сих пор мы не знали об этом.

В повести Глажиевского (как и в повестях Достоевского) Некрасову чудится «растянутость, многословие, неуместное повторение одних и тех же слов, обличающее некоторую манерность»; все, что у Некрасова высказывает об этой повести критик Мерцалов, есть буквальное повторение того, что говорил о «Бедных Людях» Белинский [1]).

Несовпадение только в одном: Достоевский для своей повести не брал эпиграфа из сочинений Белинского, как говорит о Глажиевском Некрасов. Это очень ехидный штришок: будто автор, чтоб задобрить страшного критика, украсил свою повесть его изречением, дал ему некоторую моральную взятку.

Достоевский этого, конечно, не сделал: эпиграф к «Бедным Людям» взят им у князя В. Ф. Одоевского. Или, может быть, этим эпиграфом заменен какой-нибудь другой?..

Вполне полагаться на изложенные в этой повести факты нельзя. Перед нами не беспристрастная летопись, а боевая сатира. Самые события, пожалуй, изложены в повести правильно, но освещение событий однобокое. Автор не заботился об исторической точности, у него были свои специальные цели (о которых мы скажем потом); в угоду этим целям он многое преувеличил и выпятил, о многом умолчал, многое довел до карикатуры и шаржа.

Но как ни язвительна повесть Некрасова, как ни жестока она к Достоевскому (и к окружающим Достоевского людям), она не достигает той цели

[1]) Белинский писал в своей первой—восторженной—статье о Достоевском: „Автор *Двойника* еще не приобрел себе такта меры и гармонии, и оттого не совсем бессознательно многие упрекают в растянутости даже и *Бедных Людей*. Если что можно счесть в *Двойнике* растянутостью, так это частое и, местами, вовсе ненужное повторение одних и тех же фраз“. Во втором отзыве о *Бедных Людях* Белинский писал: „Почти все единогласно нашли в *Бедных Людях* Достоевского способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство одни—растянутости, другие—неумеренной плодовитости. Действительно, нельзя не согласиться, что, если бы *Бедные Люди* явились хоть десятою долею в меньшем объеме, и автор имел бы предусмотрительность очистить их от излишних повторений одних и тех же фраз и слов,—это произведение явилось бы безукоризненно художественным“. (В. Г. Белинский. Собрание соч. СПБ. 1919, том III, стр. 558, 778).

к которой стремился автор. Читаешь ее, и не только не можешь смеяться над этим смешным Глажиевским, но страдаешь от каждого его хвастливого или трусливого слова: бедный, как ему трудно и больно!

В этой повести воочию видишь, что все впечатления жизни, даже сладостные, даже приятные, воспринимались Достоевским с такой чрезмерностью, что неизбежно превращались в страдания. Мудрено ли, что даже в гуманном кружке Белинского он чувствовал себя, как в застенке,—тем более, что, по рассказам Некрасова, в этом кружке было много жестокого. Некрасов целую главу своей повести посвящает той беспощадной облаве, которой подвергались порою некоторые члены кружка. Он сам называет их «жертвами», «мучениками».

Значит, не во всем виноват Глажиевский, и не так уж он был смешон, как описывают в иных мемуарах.

Вместо сатиры на автора «Бедных Людей» Некрасов против воли дал его апологию.

IV.

Но все же весь рассказ язвительный, и только Белинский изображен в ореоле.

Известно, что Некрасов набожно чтил память Белинского, посвящал ему оды, писал о нем поэмы, и теперь даже в повести вывел его единственным идеальным героем.

Может быть эта повесть отчасти затем и написана, чтоб прославить великого критика, хотя бы и под чужой личиной, тайком от цензуры, которая одно время даже самое имя его считала крамольным. Некрасова всегда удручало, что его учитель будет скоро забыт, и в стихах, посвященных Белинскому, он не раз выражал эту скорбь:

...О тебе не скажет ничего
Своим потомкам сдержанное племя,
И с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила.
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила [1])

сокрушался он в 1853 году, а в 1854 году в поэме «Белинский»—писал:

---

[1]) Собрание стихотворений Некрасова. СПБ. 1920, стр. 36.

...Помянуть печатно
Его не смели, и о нем
Слабеет память с каждым днем
И скоро сгибнет невозвратно [1])

и умолял цензоров позволить ему, наконец, назвать это имя в печати, спасти Белинского от общего забвения:

— «Лучше запретите мою поэму «Княгиня»,—писал он цензору В. Н. Бекетову в 1856 году,—запретите десять моих стихотворений кряду, даю честное слово: жаловаться не стану, даже про себя»,—только разрешите ему громко, назвать имя Белинского на страницах журнала [2]).

И вот он дает Белинскому имя Мерцалова и выводит его героем полубеллетристического очерка.

Очерк удался превосходно. Даже поэмы и оды Некрасова, посвященные тому же Белинскому, не так живо рисуют его, как этот прозаический набросок. В одах Некрасова—Белинский был слишком монументален, хоть сейчас на пьедестал, а в повести—он домашний, с теми маленькими и милыми слабостями, за которые к нему льнешь еще больше.

В стихах Некрасов перед ним на коленях:

Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.

А в повести—он относится к нему чуть иронически,—с той любовной иронией, с какой родители слушают своих увлекающихся детей.

Очень тонко подмечено в повести, как восторженный и пылкий Белинский силился быть равнодушным, напускать на себя хладнокровную трезвость и даже обуздывать энтузиазм других,—хотя сам дольше дня не выдерживал. Также не побоялся Некрасов отметить, что часто в основе глубоких и остроумных умозрений Белинского лежал какой-нибудь призрак, который разлетался, как дым, от первого прикосновения действительности. Кажется, за эту наивность Некрасов особенно любил Белинского. С тем же юмором указано в повести пристрастие критика к необузданным и чрезмерным словам: этот юмор только оттеняет благоговение поэта перед Белинским, которое нельзя не чувствовать в каждой строке.

Все детали тогдашней жизни Белинского переданы в повести с точностью; ему действительно было тогда под сорок лет, и действительно он стоял тогда

[1]) Там же. Стр. 50—51.

[2]) „Современник", 1913, январь. Письма Некрасова.

во главе журнала, который своим процветанием был обязан ему одному. Этот журнал—«Отечественные Записки» Краевского.

Об остальных персонажах—потом. Теперь лишь укажем, что Чудов это, конечно, Некрасов, а «добрый, но пустой Разбегаев»—конечно, Ив. Ив. Панаев, о котором и Белинский говорил: «ветрогон, инфузорий, но незлобен, подобно младенцу». Фамилия *Разбегаев* созвучна с фамилией *Панаев*, и в ней дана характеристика лица. Таким образом, получается следующий список главных действующих лиц:

Решетилов (он же «Мальчишка»)—Тургенев.

Глажиевский—Достоевский.

Чудов—Некрасов.

Мерцалов—Белинский.

Балаклеев—Григорович.

Разбегаев—Панаев.

В рукописи не все имена установлены: Белинский иногда называется также Ветлугиным, Некрасов—Тросниковым. Мы не воспроизвели этой путаницы. Напомним, что фамилия Решетилов встречается также в одном из ранних стихотворений Некрасова:

В'езжая в вотчину свою,
Такими мыслями случайно
Был Решетилов осажден.

Но едва ли тамошний Решетилов—Тургенев.

В третьей главе своей повести Некрасов приводит пригласительную записку, которую Белинский будто бы послал Достоевскому. Таких записок было, должно быть, не мало, но до последнего времени до нас не доходило ни одной. Только лет семь назад покойный В. И. Семевский обнародовал следующие карандашные строки:

«Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть вас. Приходите, пожалуйста, к нам, вас проводит человек, от которого вы получите эту записку. Вы увидите все наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас видеть у себя.

В. Белинский» [1]).

---

[1]) «Голос Минувшего». 1915, XI.

V.

Скажем теперь несколько слов о других персонажах этой повести,—и раньше всего об Анненкове. Павел Васильевич Анненков был очень образован и умен, и статьи писал дельные. Но все его статьи почти забыты, а помнят про него только одно:

— Друг Тургенева.

«Друг Тургенева»—это был его чин, его сан, его звание, его общественное положение, его право на память потомства.

Сам Тургенев дружески называл его: «мой комиссионер»—и действительно, Павел Васильевич, побуждаемый бескорыстной приязнью, готов был с утра до ночи ездить по городу, выполняя всевозможные комиссии своего знаменитого друга, жившего почти всегда заграницей. Письма Тургенева к Павлу Васильевичу полны поручений и просьб. Мы постоянно читаем в них:

— Узнайте...

— Осведомитесь...

— Сообщите...

— Распорядитесь...

— Дайте мне знать...

— Вышлите...

— С'ездите...

— Сходите...

— Зайдите, отец родной, в музыкальный магазин Иогансена и спросите...

— Уведомьте меня, что за человек Боборыкин...

— Будьте отцом и благодетелем: летите стремглав к моему цензору и попросите его...

И Павел Васильевич высылал, уведомлял, сообщал, расспрашивал, ездил, хлопотал. «Вы самый надежный комиссионер»,—хвалил его благодарный Тургенев.—«О, мой спаси-и-тель, мой покрови-и-тель! За все, за все тебя благодарю я!»—и заваливал своего покровителя новыми делами и заботами. То Павел Васильевич должен был с'ездить в редакцию «Русского Вестника», то в «Библиотеку для Чтения», то снестись с «Эпохой» Достоевского; он продавал процентные бумаги Тургенева, платил его долги, искал для него управляющих...

В литературных кругах над этим немало смеялись и вспоминали, что в прежние годы, еще до сближения с Тургеневым, Павел Васильевич таким же манером состоял при Гоголе. Гоголь прямо писал ему:

— «Иванов сообщил мне вашу готовность исполнять всякие поручения... Вот вам поручение»...

И тоже наполнял иные письма к нему одними повелительными наклонениями:

— Разведайте...

— Пришлите мне...

— Известите меня...

— Выпишите для меня мелким почерком все (!) критики на мои сочинения...

И Павел Васильевич был рад, что может услужить и пригодиться. Он нарочно поселился под одной кровлей с Гоголем, чтобы тот диктовал ему «Мертвые Души».

Такая у него была страсть: угождать знаменитым писателям. Вспомним, как ухаживал он за Белинским, подавал ему лекарства, ведался с его доктором, читал ему вслух, бегал на почту за его письмами, снабжал его деньгами, возил его из Зальцбрунна в Дрезден, из Дрездена в Кельн, из Кельна в Брюссель, из Брюсселя в Париж, был его нянькой, сиделкой. И Белинский отзывался о нем:

— Это бесценный человек... обожаемый друг мой... я очень люблю этого милого человека [1]).

В литературных кружках так и называли Павла Васильевича «наш добрый» [2]).

Много было трогательного в этом беззаветном служении знаменитым писателям. Но почему же непременно знаменитым? А если бы Белинский не был знаменитый писатель, а просто был бы несчастный чахоточный, неужели Павел Васильевич не стал бы за ним так ухаживать? Не знаем, но по крайней мере Панаевы—и муж, и жена—называют его в своих мемуарах скрягой, эгоистом, кулаком, а Некрасов даже эпиграмму на него написал, обличая его эгоизм и черствость. Вот эта эпиграмма, долго не входившая в собрание сочинений Некрасова:

---

[1]) В. Г. Белинский. «Письма». СПБ. 1914.

[2]) А. Н. Пыпин. Н. А. Некрасов. СПБ. 1905, стр 12.

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал [1]).

Ухаживая за знаменитостями, Павел Васильевич был—по свидетельству многих—с простыми смертными заносчив и сух, разговаривал с ними свысока, по-начальнически, и даже Салтыкова обидел однажды своим высокомерным обращением.

Щедрый для знаменитостей, для других он был скуповат и очень любил угощаться чужими обедами, где так радушно потчевал остальных приглашенных, что получил прозвище «гостеприимного гостя» [2]).

Даже благосклонный Тургенев сочинил о нем вирши:

Виляет острым животом,
Чужим наполненным вином.

Этого-то Павла Васильевича Некрасов и выводит в своей сатирической повести под наименованием «Спутник». Павел Васильевич, как мы уже видели, был именно спутником всех литературных светил, «получавшим свой свет от больших солнц литературы, около которых неустанно вращался». Один современник рассказывает, что когда такими восходящими солнцами становились Добролюбов и Чернышевский, Павел Васильевич был очень не прочь совершить вращение вокруг них, поступить и к ним в «Спутники», но был пренебрежительно ими отвергнут [3]).

Поразительно совпадение некоторых характерных штрихов, какими Некрасов изображает этого Спутника, с теми отзывами о Павле Васильевиче, которые явились в литературе потом.

Некрасов, например, говорит:

— Лишь разносилась молва о новой знаменитости, Спутник находился неотлучно при ней.

---

[1]) «Нов. Вр.» 1880, № 1473.—«Русский Архив» 1884 г., кн. 3, стр. 235.—См. также «Архив Стасюлевича», т. III, стр. 383.

[2]) Н. А. Белоголовый, «Воспоминания и другие статьи». М. 1897, стр. 254

[3]) П. М. Ковалевский. „Стихи и воспоминания". СПБ. 1912, стр. 281.

А Панаева-Головачева пишет:

— Чуть человек приобретал известность в литературе, Анненков тотчас же делался его другом.

По словам Некрасова, отношения Спутника к знаменитым писателям напоминали «умилительные отношения скромного, расторопного и понятливого подчиненного к милостивому начальнику».

А в воспоминаниях Панаевой о Павле Васильевича сказано:

— Он увивается за Белинским, точно мелкий чиновник за своим непосредственным начальником [1]).

Сомневаться в тожестве Павла Васильевича с этим персонажем некрасовской повести невозможно. В повести, например, сообщается, что Спутник любил читать вслух произведения своих знаменитых друзей, когда те, по слабости здоровья, сами не были на это способны. Кто же не знает, что именно Павел Васильевич два вечера подряд читал на квартире Тургенева пред Некрасовым, Дружининым и прочими — тургеневский роман «Дворянское гнездо»? Сам автор тогда был простужен, и чтение романа поручено было Павлу Васильевичу.

В благодарность за эту услугу (да и за все предыдущие) Тургенев распорядился тогда же напечатать в подзаголовке романа:

— Посвящается Павлу Васильевичу Анненкову.

Но Некрасов, как редактор журнала, где печаталась повесть Тургенева, счел это посвящение излишним, к великому огорчению «Спутника» [2]).

Дальше Некрасов сообщает о Спутнике, что тот деятельно поставлял знаменитостям все новости, анекдоты и сплетни о петербургских делах и событиях. Именно такова была роль услужливого Павла Васильевича. Тургенев то и дело писал ему:

— Не оставляйте меня известиями о том, что кипит и гремит вокруг.

— Давайте мне сведений возможно больше.

— Какие ходят теперь слухи в нашей северной столице?

Нужно сказать, что Павел Васильевич исполнял эту роль превосходно. Он отлично умел уловлять главный нерв данной эпохи. Его характеристики разных общественных настроений и веяний часто бывали широки и метки.

[1]) Такие параллельные места в некрасовской повести и в мемуарах А. Я. Панаевой наводят на мысль, что Панаева была знакома с рукописью этой повести. Во всяком случае оба произведения вышли из одного кружка.

[2]) «Литературные воспоминания» П. В. Анненкова. СПБ. 1909, стр. 507.

С птичьего полета он умел смотреть на панораму общественной жизни, именно, как посторонний, чужой, сам в этой жизни не участвующий. «Получил я ваше письмо и, по обыкновению, узнал из него лучше всю суть современного положения петербургского общества, чем из чтения журналов и корреспонденций»,—хвалил его знаменитый писатель. («Лит. Восп.» П. В. Анненкова. СПБ. 1909, стр. 553).

Но жаль, что при таком хватком чутье он был не слишком даровит, без темперамента, не горяч и не холоден, отчего все его письма и статьи тускловаты, вяловаты, не выпуклы. Ум большой, но расплывчатый и неоригинальный, он, как беллетрист и критик, оказался не выше посредственности и словно специально был создан, чтобы отлично писать мемуары о своих прославленных друзьях, хотя и для этого ему не хватало энергических штрихов и ярких красок. Главное же, ему не хватало лица; потому-то он и был в дружбе со всеми: когда Гоголь оскорбил идеалы Белинского, когда Белинский отшатнулся от Гоголя, Павел Васильевич остался приятелем и *того и другого*: недаром в некрасовской повести его личность называется «смутной» В ней не было ничего резко-выявленного; Гоголь звал ее «бесформенным воском», из которого еще не вылито фигуры.

Даже Тургенев не мог не признать, что «в нем собственно таланта не много», но, ценя его вкус и чутье, сделал его *своим собственным критиком*, посылал ему каждую повесть для предварительной оценки и критики, которая чаще всего выражалась, конечно, осанной.

Лучшие из его статей носят такие названия:

— Письма Н. П. Огарева.

— Шесть лет переписки с Тургеневым.

— Воспоминания о Гоголе,—

из чего видно, что в литературе он действительно существовал не сам по себе, а именно как спутник других,—спутник просвещенный и глубокомысленный, но все-таки спутник, т. е. был не столько *в* литературе, сколько *при* литературе.

VI.

Конечно, в этой сатирической повести Некрасов к Анненкову слишком суров: перед нами не столько сам Анненков, сколько карикатура на Анненкова.

Нельзя забывать, что у Анненкова есть изрядная заслуга пред русской словесностью: он первый собрал материалы для биографии Пушкина, был первым

посмертным,— пусть и не слишком хорошим,—редактором его сочинений, и начал собою плеяду ученых пушкинистов. Впрочем, в те годы, к которым относится повесть Некрасова, он еще почти ничего не написал и терялся в неблестящей толпе прочих «литературных сочувствователей».

Уже и тогда он был очень услужлив; юный Катков, например, получив от него вспоможение, именовал его: «мой благодетель, добрый гений моей жизни», да и сам Некрасов не раз пользовался в трудные минуты его добротой и услужливостью. Но и тогда было что-то такое в его доброте, что заставляло относиться к ней подозрительно. В ней видели какую-то корысть. В повести забавно рассказывается, как ловко он умел использовать свою завидную близость к Тургеневу: на этой близости он будто бы сделал карьеру. Такое мнение безусловно неверно, и вообще отношения Анненкова к своему великому другу (да и к другим именитым писателям) были гораздо сложнее и тоньше, чем это изложено в повести. Повесть вообще чуть-чуть аляповата, и многие фигуры в ней топорны. Тургенев был не такой человек, чтобы можно было снискать его дружбу угодливостью. Несомненно, что Анненков был дорог Тургеневу своим редким эстетическим вкусом, европейской просвещенностью и той широтой симпатий, которая часто присуща именно диллетантам, натурам безличным, нетворческим: в то время, как Фет или Герцен, представляя собой индивидуальности резко-очерченные, были близки Тургеневу только отчасти, только некоторыми сторонами души, Анненков, как личность аморфная, смутная (сказано же: восковой человек!), мог примкнуть к его душе вплотную, ибо в нем и не было тех нестираемых, острых углов, которые всегда делают невозможным слияние двух выдающихся личностей; самая его безличность и была залогом его дружбы с разнообразнейшими его современниками.

Это очень естественно, и здесь нет ничего зазорного, такого, что подлежит осмеянию. Русская литература очень много потеряла бы, если бы в ней не было Анненкова. «После славы быть Пушкиным или Гоголем, прочнейшая известность—быть историком таких людей», сказано в похвалу Анненкову в «Современнике» 1857 г. [1]). Для Тургенева он был то же, что Форстер для Диккенса, но к сожалению, он не умел подобно Форстеру, спокойно,

---

[1]) «Современник», 1857, март. Заметки о журналах. Стр. 200. Этот преувеличенный отзыв написан несомненно в благодарность за услугу, только что оказанную Анненковым Некрасову в связи с цензурными неприятностями, грозившими поэту за напечатание «Поэта и Гражданина». «П. В. Анненков и его друзья» СПБ. 1892, стр. 635.

солидно, с достоинством нести свое почетное звание. Дружба с Тургеневым была его орденом, но он слишком выпячивал грудь, чтобы показать этот орден. Обычно флегматичный и чинный, он становился суетен и суетлив, чуть дело касалось Тургенева. Он всюду являлся с Тургеневым, всюду похвалялся Тургеневым, только и говорил о Тургеневе и даже других угощал Тургеневым:

— Хотите, я приведу его к вам?

— Непременно, но когда?

— Да хоть завтра...

Такие фразы были очень возможны. В мемуарах П. М. Ковалевского читаем:

«Анненкову не терпелось показать Тургенева поближе, и вот он привел его прямо вечером, когда у нас собирались запросто.

Сидели Фет, Григорович и Дружинин. Вдруг вбегает Анненков, с глазами, уж и в спокойном-то состоянии достаточно выпученными, но теперь просто выскакивавшими из головы, и, в том возбуждении, в каком находится носитель чего-то необычайного, восклицает:

— Кого я с собою привел!.. Угадайте. Пари держу, не угадаете!

— Разумеется, Тургеньева!—протянул мягким своим произношением Дружинин.

— Ивана Сергеевича! Да, дорогого гостя!—кричал радостно Анненков:— он поднимается себе потихонько, а я так залпом взбежал лестницу.

— Как оно и подобает в ваши молодые годы,—вставил Дружинин.

Анненков был лет на десять старше Тургенева.

Он суетился. Ему хотелось весь дом поднять на ноги.

— Дорогой гость! Вот уж дорогой-то гость!—возбуждал он присутствующих. Наконец-таки не выдержал,—выбежал в прихожую и оттуда с торжеством ввел Тургенева [1]).

Недаром его называли «гостеприимный гость». Этот отрывок из записок П. М. Ковалевского можно бы целиком инкрустировать в повесть Некра-

---

[1]) П. М. Ковалевский. «Стихи и воспоминания». СПБ. 1912, стр. 282—283. Рекомендуем читателям эту превосходную книгу: в ней много юмору, жизни и красок, а между тем она прошла незамеченной. Интересно сопоставить ее с романом того же автора «Итоги жизни», напечатанном (частично) в «Вестнике Европы» в 1883 году. Там есть немало страниц, совпадающих с «Воспоминананиями».

сова: и там, и здесь говорится одно, почти даже одними словами. Вообще все мемуары об этой эпохе как будто затем и написаны, чтобы подтвердить до мельчайших подробностей изложенное в новонайденной повести.

В одном только ошибся Некрасов: Анненкову в ту пору было не двадцать семь лет, а уже тридцать три, тридцать четыре. Впрочем, он отличался моложавостью: женился, приближаясь к шестому десятку.

В других главах некрасовской повести тот же Анненков, кажется, выведен под именем «Благородная личность». «Благородная личность» очерчена теми же штрихами, что и «Спутник». Прибавлено лишь указание на тучность и апатичность Анненкова, и сделан едкий, но неясный намек на какую-то другую «более широкую сферу деятельности», где Анненков будто бы лучше всего проявил свое бескорыстие и благородство. Не была ли эта сфера—издание Пушкина, в чем, по свидетельству Панаевой-Головачевой, Некрасов видел барышничество.

Едва ли. Во всяком случае, этот намек еще подлежит выяснению.

VII.

Когда мы говорим „кружок Белинского", мы представляем себе Бакунина, Тургенева, Герцена. Но то были звезды кружка или, пожалуй, кометы, которые вдруг прилетали, на несколько недель или дней, из Парижа, из Москвы, из Мадрида и внезапно озаряли все вокруг. Тот фон, на котором сверкали эти быстролетные светила, состоял из второстепенных людей, которые плотной стеной окружали великого критика. Белинский играл с ними в преферанс, обедал у них по воскресеньям, катался с ними в лодке по Фонтанке, складывал у них свою мебель, когда уезжал из столицы, — и вообще столь близко ввел их в свою жизнь, что без них его кружок был неполон. Хотя многие из них не написали ни строчки, но, кроме литературного круга, не знали никакого другого.

Их-то и выводит Некрасов под именем «литературных сочувствователей».

Теперь они полузабыты, но по различным мемуарам и письмам, по множеству беглых упоминаний о них у Григоровича, у Фета, у Огаревой-Тучковой, мы так близко знакомимся с ними, как будто видели их только вчера, и, если бы они вошли в нашу дверь, приветствовали бы их, как приятелей.

Вот Языков, Михаил Александрович,—маленький, хромой, кривоногий, остряк, каламбурист, экспромптист; вот Тютчев, Николай Николаевич.

Тютчев и Языков—поэты? Нет, однофальмильцы поэтов: один—мелкий чиновник департамента сборов и податей, другой служит на фарфоровом заводе. Но если спросить у Языкова:

— Имею ли я честь говорить с нашим знаменитым поэтом?

Он ответит, скромно потупляя глаза:

— Так точно.

— Не подарите ли вы нас каким-нибудь новым произведением?

— Да, у меня есть много набросанного...

Смешливые его собутыльники могут выскочить из-за стола от смеха, но он сам невозмутим и спокоен [1]). Его роль—потешать за столом. Стоит ему поднять бокал и сказать:

Хотя мы спичем
И не тычем,
Но чтоб не быть разбитым параличем,

Как все почему-то хохочут [2]).

Начнет свой тост горячо, оживленно:

— Раз думал я, друзья...

А потом повторит уныло:

— Раздумал я, друзья...

И сядет,—и этот тост производил такой эффект, что люди через сорок лет вспоминали его и увековечивали в своих мемуарах. Или на Средней Рогатке, в трактире, провожая попойкой приятеля, он в том же литературном кругу скажет такое двустишие:

Какой предались мы тоске и унынию,
Узнав, что полковник наш едет в Волынию

и всех это смешит до упаду, и Некрасова, и Фета, и Тургенева.

Языков остался памятен в литературных летописях не только застольными остротами. Некрасов черезчур окарикатурил его (так же как и Анненкова и Достоевского), и в этом сатирическом романе не отметил его главного свойства: обаятельной его задушевности, его великого «таланта доброты». Недаром к Языкову тянулись такие разные люди, как Грановский, Гончаров,

[1]) Ив. Ив. Панаев. Литературные воспоминания. СПБ. 1888, стр. 110.
[2]) А. Фет. Мои воспоминания. Часть I. М. 1890, стр. 134.

Горбунов, Майков, Шелгунов, А. Ф. Кони, в его душе было гостеприимство для всех. Добр он был чрезвычайно. «Доброта его,—вспоминает А. Ф. Кони,—была не тем апатическим неделанием зла и сентиментальничаньем, которым дают у нас неправильно кличку доброты,—это была любовь деятельная, тревожная, приходившая на помощь в форме деликатной настойчивости, везде, где только было возможно... Иной уже совсем ослабевал, рискуя махнуть на все рукой... но приходил колеблющеюся походкой своих коротеньких ножек Языков, говорил растроганным голосом, смотрел влажными, умными и добрыми глазами — и вместе, с ним приходили помощь, обучение, заработок, служба»... [1]).

По словам Некрасова выходит, будто ни Языков, ни другие второстепенные члены кружка Белинского не были ни в малейшей степени соучастниками духовной жизни великого критика, будто это была случайная компания пошловатых и вульгарных обывателей, ничего общего с Белинским не имеющая; это неверно, и ниже мы увидим, для чего Некрасову понадобилось такое отклонение от истины.

М. А. Языков до конца своих дней был носителом заветов Белинского, на нем всю жизнь покоился отблеск того пламени, которым пылал его друг. Когда нагрянули шестидесятые годы, Языков не встал против них, не озлобился, — как многие другие его сверстники, напротив, почувствовал себя в своей стихии и энергично предался общественной работе. Судьба закинула его в провинцию, в Калугу, там он в несколько лет основал:

1. Общество сбережения «Подспорье»;
2. Общественную библиотеку;
3. Общество взаимного кредита;
4. Общество вспомоществования недостаточным студентам

и т. д., и т. д., вкладывая в эти затеи много бескорыстного труда. Очутившись на склоне лет в Новгороде, он и там, — ценою великих усилий,— основал первую общественную библиотеку, на каждом шагу обнаруживая крепкую непорываемую связь со своим учителем-другом [2]).

[1]) А. Ф. Кони. «За последние годы», СПБ. 1898, стр. 167.

[2]) О М. А. Языкове см. статью «Шелгунов в Калуге», в «Голосе Минувшего», 1915, XI; примечание Б. Модзалевского к статье «Из переписки Гончарова», Временник Пушкинского Дома, 1914, стр. 97—98, 100—102; примечание Б. Модзалевского к «Трем письмам Тургенева» в «Невском Альманахе», выпуск второй. Петр. 1917, стр. 43—47. „Неизданные письма Тургенева“ с об'яснениями Б. Л. Модзалевского в „Тургеневском сборнике“. СПБ. 1921, стр. 197—202.

Языков не льстил писателям: он был исполнен самоуважения и чинной солидности. М. Н. Лонгинов еще в 1844 году отметил его сановитость и важность:

Языков сам, столь *важный*, столь приятный,
Меня *почтит* улыбкой *благодатной* [1]).

Вместо стремглав говорил он стремплешь [2]) и вообще был неистощим на нелепости. Фривольные стишки составляли его специальность. Даже неудачные его каламбуры передавались из уст в уста. Герцен, напр., пишет Огареву из Москвы в Рим, что Языков написал в одном письме: «я женюсь, стало, нынешним летом будет много жито, т. е. не в амбаре, а в груди». Кетчеру Герцен сообщает, что Языков, подойдя к какому-то матросу, сказал: homme atroce (о, матрос) и т. д. (см. А. И. Герцен, полное собрание сочинений и писем, Петр. 1915, II. 432; III, 240). В письмах Грановского пересказываются такие же остроты Языкова. Напр., о сотруднике «Маяка» Зеленом он писал:

Тут вмешался Х... вареный,
По прозванию Зеленый.

(В. Г. Белинский. Письма. СПБ. 1914, стр. 134). С Белинским он был на «ты». Белинский был вначале от него в восторге:

— «Я недостоин разрешить ремня у сандалий его,—писал он в письме к Бакунину.—«Это душа благодатная, глубокая, тихая и гармоническая» [3]). «Безжелчен, как голубь, добр, как агнец, и развратен,... как козел», — отзывался критик о своем новом приятеле [4]).

Но вскоре ему стало казаться, что этот великолепный Языков—только и хорош за бутылкою, а чуть дело коснется «идей», он, как попугай, повторяет чужое. «Для друзей он готов уверовать в какое угодно учение и будет наполовину невпопад повторять их слова»,—писал Белинский несколько позже. Зато Языков был услужлив и предан: он выхлопотал Белинскому

---

[1]) Эти строки долго приписывались Тургеневу, но позднейшие исследователи, в том числе и М. О. Гершензон, утверждают, что сам Тургенев назвал автором «Попа» М. Н. Лонгинова. («Русские пропилеи» М. 1916, том 3, VI). Это не совсем так: Тургенев в письме неправильно называет поэму Лонгинова «Отец...»—«Попом...» А поэма Тургенева называлась прямо «Поп» (Первое «Собр. писем Тургенева», стр. 382).

[2]) Там же, стр. 581.

[3]) В. Белинский. Письма. СПБ. 1914, стр. 58.

[4]) Там же, стр. 71.

к свадьбе какой-то очень важный документ, без которого нельзя было венчаться, он добыл ему метрическое свидетельство; он был готов отдать литераторам последнее и даже ночью не раз угощал их ватагу, налетавшую на него неожиданно. В воспоминаниях А. А. Фета читаем:

«Бывало, зимою, поздно засидевшись после обеда, кто-нибудь из собеседников крикнет; «господа! поедемте ужинать к Языкову!» И вся ватага садилась на извозчиков и отправлялась на фарфоровый завод к несчастной жене Языкова, всегда с особенной любезностью встречавшей незваных гостей. Не знаю, как она успевала накормить всех, но часа через полтора или два являлись сытные и превосходные русские блюда, начиная с гречневой каши со сливками и кончая великолепным поросенком, сырниками и т. д. И ватага отваливала домой, довольная хозяевами и ночною экскурсией» [1]).

Когда Тургеневу было нужно пристроить к акцизному ведомству своего побочного брата, он обратился к «любезнейшему Михаилу Александровичу», и брат немедленно получил место [2]).

Писатели любили его бескорыстно, а если эта любовь окрылялась его подарками, одолжениями, ужинами,—то здесь для него только честь: он служил литературе, как мог.

О Ник. Ник. Тютчеве можно бы написать отдельную статью. Он окончил Дерптский Университет, переводил для «Отечественных Записок» иностранные повести и служил в Департаменте податей и сборов. Нам кажется, что именно его разумеет Некрасов под названием «*Практической Головы*». Н. Н. Тютчев открыл осенью 1846 года совместно с М. А. Языковым знаменитую «Контору Агентства и Комиссионерства», где повел дело так, что Языков в три года потерял все свои деньги, вложенные в это предприятие. Об этой конторе существует обширная эпистолярная литература; Некрасов изобразил ее в одном из своих романов. В жену Н. Н. Тютчева в конце 30-х годов молодой Тургенев был мимолетно влюблен [3]).

А кум Белинского, Иван Ильич Маслов? Не даром Некрасов посвятил ему свое знаменитое стихотворение «Тройка», Маслов стоил такого подарка. Этот «ленивейший из хохлов» как будто целью своей жизни поставил отдать всего себя литераторам. Для Тургенева он нанимал экипажи, покупал, по его поручению, акции; стриг для него купоны; ездил по его делам и на

---

[1]) А. Фет. Мои воспоминания. Часть I, М. 1890, стр. 133.

[2]) Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПБ. 1884, стр. 109—110.

[3]) «Тургеневский Сборник», СПБ. 1915, стр. 42.

Пречистенку, и к Каткову, и к какой-то неведомой барыне; помогал ему в продаже имения, — словом, был для Тургенева чем-то в роде московского *Анненкова,* — и в течение двадцати лет предоставлял ему, при его наездах в Москву, всю свою казенную квартиру. Тургенев ему писал, как в отель:

— Предупреждаю тебя, что явлюсь к тебе во вторник и пробуду на твоей великолепной и гостеприимной квартире сутки.

И Маслов готовил поистине царский прием своему именитому гостю.

Для Некрасова в удельных имениях он устраивал охоту на вальдшнепов, а когда больная жена Белинского уезжала куда то лечиться, ему Маслову, поручили достать ей билеты, усадить ее на пароход, проводить... Не редкость была для него бегать с письмами от Белинского или к Белинскому.

Словом, это буквально то самое, что рассказывается в некрасовской повести о «литературных сочувствователях». Благоговение перед писательским кругом безмерное и готовность на всевозможные жертвы, лишь бы только как-нибудь сблизиться с этой священной кастой.

В повести, между прочим, говорится о каком-то жалком «сочувствователе», который, чтобы привлечь литераторов, чтобы втереться в их общество, угощал их прескверным вином, «невероятно плохими обедами», за что и получал нагоняй. Несомненно, здесь Некрасов имеет в виду Комарова, Александра Сергеевича, того, о котором Белинский писал:

— «Подлец Комаришка... Комаришка дурак положительно, кроме того, что препустейший человек!» [1]).

И говорил ему: «вы отравитель». Как этот Комаришка унижался, чтобы Белинский удостоил его посещением. Белинский, наконец, удостоил, но, как сообщает Панаев, «заявил наотрез, что никогда обедать у Комаришки

---

[1]) См. В. Г. Белинский. Письма. СПБ. 1914, III, стр. 171, 172. Не нужно смешивать двух разных Комаровых, с которыми был близок Белинский: Александра Сергеевича и Александра Александровича. Только первого из них, в отличие от второго, Белинский называл Комаришкой. Второго же весьма уважал, как полезного и дельного труженика на педагогическом поприще. Между тем даже редактор «Писем» Белинского Евг. Ляцкий смешал этих двух людей, и все то злое, что Белинский говорит о первом, взвалил на второго, ни в чем неповинного. (Там же, стр. 463). Евг. Ляцкий забыл, что еще в воспоминаниях Панаева сказано, что А. С. Комаров, профессор института путей сообщения, был двоюродным братом А. А. Комарова и что отношения с Белинским у обоих были разные. (И. И. Панаев. «Литературные Воспоминания». СПБ. 1888, стр. 272 и 308).

не будет, потому что у него провизия не свежая и вино прекислое, что он человек больной, и желудок его не может переносить такой скверной пищи»...

Комаров всякий раз клялся, что в следующий вторник у него будет тончайший обед и самое дорогое вино от Рауля, и всякий раз был уличаем в хвастовстве. От обедов его Белинский решительно отказался [1]).

Рассказ Панаева совпадает буквально с тем, что говорится у Некрасова. Но дальше Некрасов рассказывает, как грубо, безпардонно, жестоко третировали разных Комаришек их литературные кумиры:

— «Смотри, чтоб шампанского было довольно! И жену свою выгони вон. Жены не надо и детей не надо. Тогда мы, пожалуй, придем».

Белинскому такое бурбонство было, конечно, несвойственно. Изо всей его плеяды один Кетчер был так бесцеремонен и груб. Да и кто же другой, кроме Кетчера, стал бы хлопотать о шампанском. Кетчер был без Редерера немыслим:

— Ну, пей же, братец, пей!—совал он каждому бокал и бутылку.

— Экие вы дряни! Сколько вас тут, а и четырех бутылок не могут выпить!—таков был стиль его речей и манер. Он не говорил, а командовал,—был хохотун и крикун. «Ты братец, дрянь»,—говорил он с первого слова (он был со всеми на ты), и все же многих тянуло к нему. Правдив он был до неприличия, неопрятен до отвращения. Как, должно быть, трепетал перед ним Комаришка, когда он выплескивал ему в тарелку его дрянное вино и говорил ему: дрянь! Белинский не раз называл его циником и порицал его за «мужичество», но знал, что под этим мужичеством кроется святая душа.

— Кетчерушка! Уродина! Чудовище нелепости! Ты так добр, что во всяком готов принять участие!

«Если бы в России можно было делать что-нибудь умное и благородное, Кетчер много бы наделал,—это человек!»—писал Белинский в частном письме. Мы думаем, что в повести Некрасова Кетчер выведен под именем Паругина. Жаль, что там ему уделено только несколько беглых строк, он заслуживал больше внимания. Это был честный плебей, ярый труженик, и его личность далеко не исчерпывалась ни шампанским, ни раскатистым хохотом, ни грубой повадкой. Он известен, как переводчик Шекспира, как редактор посмертного издания Белинского,—и мы не хотели бы, чтобы его эпитафией была эта злая эпиграмма Тургенева:

---

[1]) «Современник», 1861, XII, стр. 68—70.

Вот еще светило мира,—
Кетчер, друг шипучих вин!
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Лучшее из написанного о Кетчере —знаменитая статья Герцена в IV части «Былого и Дум» [1]).

В то время, когда Некрасов писал свою повесть, Кетчер уже был его врагом.

— «Честью клянусь, никакие эпитеты не в состоянии передать той ненависти и злобы, которые чувствует к тебе Кетчер»,—сообщал Некрасову в эту пору В. Боткин...—Эта ненависть, эта желчная, ядовитая злоба с пеною у рта... я такого озлобления не встречал в своей жизни» [2])...

VIII.

Комаришка, чтобы придать себе весу, выписывал со всего света журналы и книги, и рад был, если мог доставить Белинскому свежий нумер «Revue Indèpendante», новую брошюру, лексикон... Панаев забавно рассказывает, как Белинский, придя к Комаришке и не найдя никого из гостей, взял у хозяина новый журнал, лег на диван, попросил не мешать и погрузился в чтение, как дома. Когда пришли гости, Белинский встретил их радостно, но чуть хозяин попробовал вмешаться в беседу, Белинский цыкнул на него: «замолчите».

И, указывая на него, говорил:

— Помилуйте, он мне так надоел [3]).

Ужинать он не остался и громко сказал гостям при хозяине:

— «Мне очень жаль вас, что вы добровольно хотите отравлять себя».

Вот какой тон был тогда у писателей по отношению к «литературным сочувствователям», конечно, не ко всем, а к таким, как Комаришка. Этот тон очень метко уловлен в повести. Ясно, что Комаришка и тот, кого в повести зовут «библиотекой»—есть одно и то же лицо.—«И чего вы пришли? Убирайтесь вон! Мне нужны не вы, а ваша книга»,—так, по свидетельству повести, обращался критик с «библиотекой».

---

[1]) А. И. Герцен. „Полное собрание сочинений". Т. XIII. СПБ. 1919, стр. 204—233.

[2]) См. „Голос Минувшего". 1916, IX, стр. 186—187.

[3]) И. И. Панаев. „Литературные Воспоминания". СПБ. 1888, стр. 274.

А в мемуарах Панаева он то же самое говорит о Комаришке:

— Только что я вошел, он (Комаришка) не дал мне еще опомниться и, как безумный, бросился на меня и начал мне читать что-то из «Revue Indepéndante».—Я и без вас умею читать, сказал я ему, взял книгу и лег на диван, а он подсел ко мне и смотрит мне прямо в глаза, чего я терпеть не могу. Ну я и попросил его оставить меня в покое».

Под именем «Восприимчивой Всесторонней Натуры» в повести, как мне кажется, выведен Василий Петрович Боткин, самый близкий из всех друзей Белинского,—надеюсь, настолько известный читателям, что о нем распространяться излишне. Его отношения к Некрасову освещены в статьях В. Евгеньева: «Н. А. Некрасов и люди 40-х г.г.» [1]).

Несомненно, что упоминаемый в повести надменный журналист Томашевский есть Андрей Андреевич Краевский, редактор «Отечественных Записок»: в нескольких строках верно схвачена его манера держаться с людьми. Нужно помнить, что журналистами назывались в то время не сотрудники газет, а редакторы-издатели журналов.

Теперь, когда у читателя есть некоторый ключ к этой повести, нам остается выяснить, в каком приблизительно году была написана эта повесть Так как в ней тон обличительный, и все деятели 40-х годов (за исключением Белинского) изображены в беспощадно-сатирическом виде, то можно думать, что она писалась в то время, когда Некрасов, сойдясь с Чернышевским и Добролюбовым, порвал старые кровные связи с представителями предыдущей эпохи— и по-новому, новыми глазами, взглянул на своих прежних соратников: в знаменитой распре отцов и детей он, единственный из всей плеяды Белинского, перешел на сторону последних, и вот хочет осудить все то, за что он так возненавидел «отцов».

Если это так, то повесть не могла быть написана ранее 1861 года, когда определилось вполне, что люди сороковых годов—враги нового поколения, когда между ними произошел открытый разрыв, и неизбежность борьбы стала явной для всех [2]). Можно себе представить, как эта обличительная повесть была бы кстати в ту пору на страницах некрасовского «Современника».

---

[1]) „Голос Минувшего“ 1916, кн. VIII и IX.

[2]) К этой же дате приводит нас глухое указание на Анненкова, читавшего вслух перед друзьями какой-то новый тургеневский роман. Мы знаем, что этот роман—„Дворянское гнездо“, и что чтение его могло состояться не ранее 1858 года. (П. В. Анненков. „Литературные воспоминания“. СПБ. 1909, стр. 506—507).

Некрасов был слишком живой человек, чтобы писать мемуары. В летописцы он не годился. Его повесть не мемуары, а боевая атака. Этого не нужно забывать. В разрыве Некрасова с отживающим поколением Белинского сказался его гениальный общественный инстинкт: вернее всех учуял он волю истории—и в своем «Свистке», в «Современнике» открыл непрерывный огонь против прекраснодушных либералов-отцов, которые сделались так ненавистны демократическому поколению детей. Он понял, что во имя грядущей свободы нужно свергнуть былые кумиры, порожденные *Дворянскими Гнездами*, и, в подмогу статьям Антоновича, Чернышевского, стишкам Лилиеншвагера и проч., выступил с этой обличительной повестью, а так как у поколения «отцов» был один амулет, одно магическое слово: «кружок Белинского», «плеяда Белинского»,—Некрасов и повел свою атаку именно против этой плеяды.

Такова была его боевая задача, давно уже упраздненная временем, но тогда насущная, исторически-нужная. Теперь, издали, мы хорошо понимаем, какая это кособокая повесть, пристрастная, нарочито-сгущенная, и сколь многое в ней подтасовано,—взять хотя бы характеристику Анненкова или Ив. Ив. Панаева.

Но Некрасов и не гнался за беспристрастием. Ему, для его полемических целей, нужно было во что бы ни стало отнять у «отцов» их великое право гордиться своей прикосновенностью к Белинскому, погасить осеняющий их ореол эпохи Белинского, и он с обычной своей журналистской умелостью блистательно выполнил эту задачу. Эта повесть, развенчивающая всевозможных Кирсановых, должна была прийтись по вкусу Базаровым, для которых она писалась. Появись эта повесть в печати, враги Некрасова увидели бы в ней заискивание перед молодым поколением и пасквильную клевету на героическую интеллигенцию 40-х годов. Но в основном Некрасов был прав: та трудовая, разночинная, аскетически-настроенная среда, которую создали шестидесятые годы, была в бытовом отношении, несмотря на свои огромные недостатки, все же выше крепостнической— праздной и растленной.

Кроме того, не нужно забывать, что, помимо побуждений общественно-политического характера, Некрасовым руководила и личная неприязнь ко многим членам кружка Белинского. Ко времени писания повести Некрасов успел поссориться с Герценом, Огаревым, Боткиным, Кетчером, Тургеневым—со всеми близкими к Белинскому людьми, и это тоже не могло не отразиться на его полемической повести...

IX.

Если для поколения шестидесятых годов эта повесть могла быть интересна главным образом потому, что в ней изображен Белинский, то для нашего поколения ее главный герой — Достоевский.

Положение Достоевского среди тех, кого в первое время он так доверчиво называл «наши», было мучительное. Четыре года эти люди травили его. То, что было лучшего в этом кружке—идейное кипение Белинского, Кавелина, Герцена—было Достоевскому внутренне чуждо, и лишь худшей, лишь самой темной своей стороной обернулась к нему эта плеяда. К сожалению, в тех главах Некрасовской повести, которые дошли до нас, об этой травле не говорится ни слова,—но достаточно и прочитанных глав, чтобы понять, как была она жестока. Нам показаны жертва и ее палачи, и мы предчувствуем, какова будет казнь.

Страшнее всего было то, что, как известно из других материалов, еще не попавших в печать, Достоевский был в ту пору влюблен в жену Панаева, подругу Некрасова, пресловутую Авдотью Яковлевну, которая своим тяготением к сплетне стоила десяти Комаришек. Она была очень эффектна. Сам граф Соллогуб аттестует ее в своих мемуарах, как «красивейшую женщину во всем Петербурге», как «приманку для посетителей дома Панаевых», сам Фет вспоминает о ней:— безукоризненно - красивая брюнетка, с капризным голоском избалованного ребенка [1])...

Перед этой женщиной его мучили больше всего. Там, в ее столовой, был его застенок. Удивительно, до чего этот жестокий роман был в духе самого Достоевского. Так и кажется, что читаешь о нем на страницах «Игрока» или «Подростка». Каждый понедельник Языков, Григорович, Тургенев, сидя за чайным столом у Панаевой, систематически трунили над влюбленным, вызывая его на забавные выходки, делая его шутом в глазах любимой,—и как томно вздыхали сочувствователи:

— Бедный, бедный Достоевский!.. Вы знаете?..

Тогда же, или несколько раньше, случился другой эпизод, тоже не достаточно известный.

Какая-то великосветская белокурая барыня, плененная внезапной славой автора «Бедных Людей», пожелала, чтобы он был представлен ей. Но золотые

---

[1]) См. нашу брошюру „Жена поэта“ (Авдотья Яковлевна Панаева). СПБ. 1922 г.

чертоги, озаренные свечами и карселями, так смутили молодого литературного льва, что, когда он очутился среди бриллиантовых дам и был, наконец, подведен к ослепительной даме, встретившей его каким-то комплиментом, он побледнел, зашатался, и с ним сделался не то обморок, не то—хуже—припадок падучей. Блондинка, должно быть, испугалась, а Достоевского вынесли в заднюю комнату, облили одеколоном, откачали, и, конечно, он уже не вернулся в чертоги, а, как оплеванный, кинулся прочь, чувствуя, что навеки погиб. Казалось бы, можно ли смеяться над обмороком, однако, даже великие наши писатели не побрезгали посмеяться над ним. Существует обветшалый листок, написанный рукою Некрасова, с поправками, сделанными рукою Тургенева, где в виде послания к «юному пыщу» Достоевскому, этот обморок изображается так:

. . . когда на раут светский,
Перед сонмище князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой,—
Как трагически-недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

Уже то, что Некрасов и Тургенев могли эти стишки написать, свидетельствует, как прав был Некрасов, обличая, хоть и задним числом, недобрые нравы тогдашней литературной среды.

Стишки эти были известны в печати и ранее, но оставались для всех непонятными [1]). Только теперь, через 70 лет, мы можем расшифровать их и видим, что это насмешка над обмороком, злая издевка над тем, над чем еще не издевался никто. Мне посчастливилось найти в «Собрании сочинений» Панаева один всеми забытый рассказ, где с большим злорадством излагается описанное в этих стишках происшествие. Заглавие рассказа «Литературные кумиры, диллетанты и проч.» [2]). Он напечатан в пятом томе сочинений Па-

---

[1]) См.: Анненков, „Литерат. Воспоминания“ СПБ. 1909, т. III, 139.—К. Леонтьев. Собр. соч. IX, 14.—„Нов. Вр.“ 4 апр. 1880 г., 1473.—„Письма Тургенева к Герцену“, изд. Драгоманова, Женева, 1892 г.—„Архив Стасюлевича“, III, 384.—„Нива“, Ежемесячные Литературные Приложения, 1901, XI.—„Литерат. Вестник“ 1903, V.

[2]) Этот рассказ представляет собою отрывок из „Заметок Нового Поэта о петербургской жизни“, напечатанных в „Современнике“ 1855 г., т. 54, стр. 235 и след.

наева, в «Очерках из петербургской жизни». Удивительно, что никто из биографов Достоевского не заметил этого рассказа и не воспользовался им для истолкования того эпизода, о котором говорится в вышеприведенных стишках. А между тем этот рассказ драгоценен. Благодаря ему становятся понятны многие темные намеки стихов. Мы начинаем догадываться, о какой *русой красоте* говорят эти стихи, на какую *скоропостижную гибель* они намекают. Кроме того в них отлично отразился тот высокомерный и насмешливый тон, с которым относились к Достоевскому его вчерашние поклонники.

«...За неимением настоящих героев,—пишет Панаев—я поклонялся кумирчикам, которые созидались людьми мне близкими, которым я верил и которых уважал. Мы ставили наших кумирчиков на пьедестал и поклонялись им с искренним энтузиазмом. Одного, произведенного таким образом в кумиры, курениями и поклонениями перед ним мы чуть было даже не свели с ума. Этому кумирчику посчастливилось более, нежели другому: его мы носили на руках по городским стогнам... Об нем мы протрубили везде, и на площадях, и в салонах. Одна барышня с пушистыми пуклями и с блестящим именем, белокурая и стройная, пожелала его видеть, наслышавшись об нем, и наш кумирчик был поднесен к ней, и подносивший его говорил ей с восторгом. «Вот он! смотрите! вот он!» Барышня с пушистыми локонами изящно пошевелила своими маленькими губками, которые она беспрестанно обсасывала своим маленьким язычком для придания им свежести, и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент... как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. Он очнулся, но уже не входил в салон, где сидела барышня с пушистыми локонами, ярко освещенная светом карселей и свеч»...

Дальше Панаев рассказывает, будто великосветская дева стала являться Достоевскому в мечтах и повторяла: «ты гений, ты мой, я твоя!»—и манила его в полутьму будуара, к каким то роскошным кушеткам, а потом исчезала, и бледный лунатик, пробудившись от грез, озираясь, снова видел себя на чердаке, на жестком облезлом диванчике и, закрывая руками лицо, рыдал и вопил от отчаяния.

Этот пасквиль был напечатан при жизни Достоевского. Каково было автору «Бедных Людей» читать эти оскорбительные строки. В записной книжке Д. В. Григоровича, отрывки из которой были напечатаны в «Ниве», мы знаем, что «барышня с пушистыми пуклями» была тогдашняя красавица Сеня-

зина, и что Достоевский был представлен ей на вечере у Виельгорских[1]) в начале 1846 года.

— «С этих пор,—продолжает Панаев,—наш маленький гений сделался невыносим: он ни за что не хотел ходить сам по земле и по тротуару, а непременно требовал, чтобы мы его носили на руках и поднимали как можно выше, чтобы его все видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: «выше! выше!» У нас совсем затекали руки, до нельзя поднятые кверху, а он все злился и все кричал «выше!»

Кончается пасквиль Панаева так:

— «Кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт... Бедный! Мы погубили его, мы сделали его смешным!»

О ком это писано? О Достоевском! «Достоевский забыт». И кто это пишет? Панаев, которого так прочно забыли, словно его и не было на свете! О, как изумился бы Панаев, если бы мог хоть на миг воскреснуть из своей забытой могилы и увидеть, что этот смешной Достоевский, этот ходячий анекдот, этот «прыщ»—есть величайшая слава России. Не Панаев, а Достоевский был откровением для Ницше, не перед Панаевым, а перед Достоевским преклонялся в тюрьме преображенный Уайльд, не о Панаеве, а о Достоевском говорит Роберт Стивенсон, что это современный Шекспир.

Когда в Европе говорят о России, там первое же слово: «Достоевский», и весело читать в нечитаемой книге, как какая-то комаришка жужжит:

— Я свергла его с пьедестала. Я погубила его.

Что рассказ Панаева относится именно к Достоевскому, видно хотя бы из того, что в этом рассказе приводится цитата из стихов, написанных о Достоевском Некрасовым. На странице 6 читаем:

«Кумирчик наш потребовал, чтобы его статью напечатали непременно в начале или конце книги, чтобы она бросилась в глаза всем и была, не в пример другим, обведена золотым бордюром или каймою. Издатель на все согласился и запел, потрепав маленького гения по плечу:

Ты доволен будешь мною:
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

---

[1]) „Ежемесячные Литературные Приложения к „Ниве“ № 11, ноябрь 1901, 392—4.

Принято осуждать Достоевского за его карикатуру на Тургенева в «Бесах»; но забывают, что Тургенев задолго до появления «Бесов», был автором карикатуры на Достоевского, осмеяв—совместно с Некрасовым его—наружность и болезнь.

Порицая «комаришек», мы отнюдь не хотим тем самым опорочить «плеяду Белинского». В наших комментариях к новонайденной Некрасовской повести мы часто указывали на пристрастность многих ее характеристик и отзывов, относящихся к плеяде Белинского, и, как могли, защищали многих деятелей этой плеяды от нападок Некрасова.

Но нужно же признать вместе с ним, что этот гуманный кружок имел не мало отрицательных черт, и что не один Достоевский виноват в своем расхождении с Тургеневым, Панаевым, Белинским...

Конечно, кощунством являются слова Достоевского, написанные четверть века спустя после знакомства с Белинским:

— «Белинский и вся эта сволочь... это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни».

«Грязнейшими, смешнейшими и ужаснейшими днями своей жизни» называл Достоевский время своего знакомства с Белинским.

Многим эти слова кажутся чудовищными, но новонайденные «Записки» Некрасова, если не оправдывают такое кощунство, то хоть отдаленно объясняют его.

Рукопись Некрасова занимает 37 страниц большого формата. Это черновик, еще не готовый к печати. На полях много дополнений и вставок. Страницы не нумерованы, заглавия нет. Нет ни первых, ни последних страниц.

Года через три после того, как мы обнародовали эту рукопись, один из рецензентов, с непонятным злорадством, заявил, что ему известна вышедшая в Перми литографированная тетрадка под заглавием «Как я велик!», где вся эта повесть воспроизводится, будто бы, полностью. К сожалению, ни в Академии Наук, ни в Публичной Библиотеке этой тетрадки нет. Никому из библиографов, к которым мы обращались за справкой, она неизвестна.

Если рецензент не ошибся и в Перми действительно есть такая тетрадка, пора бы напечатать ее. Грешно держать под спудом столь ценный историко-литературный материал.

К. Чуковский.

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ.

Неизданная повѣсть Н. А. Некрасова.

. . . .

II.

Въ тотъ же день часовъ въ одиннадцать утра Чудовъ, въ страшныхъ попыхахъ, побѣжалъ съ «Каменнымъ Сердцемъ» къ своему пріятелю Мерцалову и съ увлеченіемъ сказалъ ему:

— Григорій Александровичъ! Прочтите, ради Бога прочтите эту рукопись поскорѣе! Если я не ошибаюсь, судьба посылаетъ нашей литературѣ новаго блестящаго дѣятеля! По моему мнѣнію, это превосходнѣйшая вещь!

Мерцаловъ былъ человѣкъ съ тонкимъ литературнымъ вкусомъ, справедливо пользовавшійся репутаціей отличнаго критика. Онъ былъ главнымъ сотрудникомъ журнала, имѣвшаго тогда громкую и почетную извѣстность, которую, можно сказать безъ преувеличенія, доставилъ ему Мерцаловъ. Безпристрастіе, непреклонявшееся ни предъ какими отношеніями, ни предъ какими выгодами, рѣзкій раздражительный тонъ, иронія, если не всегда тонкая, то всегда злая и мѣткая,—доставили ему множество враговъ, которые распускали о немъ Богъ знаетъ какіе слухи: въ ихъ разсказахъ Мерцаловъ являлся какимъ-то бичомъ всего даровитаго и прекраснаго, какимъ-то литературнымъ бандитомъ, не дающимъ пощады ни встрѣчному ни поперечному, лишь бы потѣшить свою молодецкую удаль. Но, въ сущности, не было существа добрѣе, благороднѣе и деликатнѣе и, если онъ дѣйствительно иногда накидывался на нѣкоторыя недостойныя литературы явленія съ большимъ жаромъ и негодованіемъ, чѣмъ они заслуживали, то причиною этому была его горячая, страстная любовь къ литературѣ; какъ нѣжный отецъ въ любимомъ дѣтищѣ, онъ желалъ

видѣть въ ней одни достоинства, и каждое бездарное, недобросовѣстное или почему-нибудь вопіющее явленіе приводило его въ отчаяніе, поднимало въ немъ всю желчь, которая и отражалась обыкновенно въ отзывахъ его о такихъ произведеніяхъ.

Зато никто съ такой любовью, съ такимъ ободрительнымъ теплымъ участіемъ не встрѣчалъ новаго явленія, обнаруживающаго признаки таланта. Въ этомъ отношеніи увлеченіе его доходило до такой степени, что за одною хорошею стороною онъ не замѣчалъ десяти дурныхъ, и такимъ образомъ подавалъ врагамъ своимъ поводъ обвинять его не только въ преувеличенныхъ порицаніяхъ, которыя они называли ругательствами, но и въ преувеличенныхъ похвалахъ, которыя они называли кумовствомъ. Вообще крайности составляли главную черту его характера какъ въ литературѣ, такъ и въ жизни. Середины у него не было—и человѣкъ или книга, еще сегодня милые ему, рисковали завтра возбудить его отвращеніе. Такіе переходы совершались въ немъ всегда рѣзко и круто, предшествуемые внутреннимъ мучительнымъ тяжкимъ процессомъ мысли, доводившей его до сознанія ошибки. Ни печатно, ни словесно онъ не стыдился сознаваться въ ошибкахъ, и если не былъ упорно постояненъ въ своемъ мнѣніи (что нѣкоторыми почитается необходимымъ признакомъ великого ума),—то можно сказать положительно, что мнѣнія его истекали изъ глубокаго убѣжденія. Надо прибавить, что судьба не обнаруживала къ нему особеннаго расположенія, онъ былъ очень несчастливъ въ жизни, и это естественно усиливало его раздражительность.

Мерцаловъ выслушалъ восторженныя похвалы Чудова «Каменному Сердцу» съ тою кроткою улыбкою недовѣрія, съ которой опытные критики выслушиваютъ обыкновенно людей, рѣшающихся произнести положительные приговоры въ дѣлѣ, подлежащемъ исключительно суду ихъ, опытныхъ критиковъ. Къ этому должно прибавить, что частыя увлеченія, за которыми слѣдовали горькія, обидныя самолюбію разочарованія, научили Мерцалова быть осторожнѣе,—и если онъ не могъ передѣлать своей натуры, то по крайней мѣрѣ старался показать, что теперь уже спокойнѣе и трезвѣе встрѣчаетъ каждое новое явленіе, наученный лѣтами и опытомъ не поддаваться увлеченію.

Мерцалову было подъ сорокъ лѣтъ, но—если сказать правду—онъ былъ моложе иного двадцатилѣтняго юноши благодаря богатству, воспріимчивости своей натуры.

— Эхъ вы, молодежь, молодежь! — сказалъ онъ съ усмѣшкой. — Чуть прочтете что-нибудь, понравится, расшевелитъ сердчишко, уже сейчасъ и превосходная, пожалуй, даже—геніальная вещь!

— Прежде прочтите—сами то же скажете.

— Прочесть? Да смотрите: стòитъ ли читать? Я теперь очень занятъ.

— Стòитъ, увѣряю васъ, стòитъ!—съ жаромъ отвѣчалъ Чудовъ. — Вы только начните—не оторветесь.

— Будто? Вы по себѣ судите. Полноте! Я уже не вашихъ лѣтъ [1]). Для меня нѣтъ теперь книги, отъ которой я не могъ бы оторваться для чего угодно—хоть для пустого разговора.

— Я ужо зайду,—сказалъ Чудовъ.

— Вечеромъ? Хорошо; заходите.

— И вы мнѣ скажете ваше мнѣніе.

— Уже? Вы думаете, что я вотъ такъ все брошу и примусь читать.

— Но вѣдь отличная вещь. Прочтите сегодня...

— Сегодня никакъ не могу. Я началъ прекрасную книгу [2]), надобно кончить.

— Когда же вы прочтете?

— Да вотъ... прочту какъ-нибудь,—лѣниво отвѣчалъ Мерцаловъ.

Чудовъ ушелъ. Слѣдуетъ замѣтить, что Мерцаловъ вовсе и не думалъ продолжать чтеніе, но тотчасъ же по уходѣ Чудова съ живостью ухватилъ рукопись «Каменнаго Сердца». Онъ прочелъ заглавіе; пробѣжалъ эпиграфъ, который составляли нѣсколько строкъ, выписанныхъ изъ его собственной критической статьи, и сталъ читать. По прочтеніи нѣсколькихъ страницъ, лицо его вспыхнуло, онъ оставилъ рукопись и заходилъ скорыми шагами по комнатѣ. Потомъ онъ кликнулъ человѣка, приказалъ ему никого не принимать и сталъ продолжать чтеніе.

Около осьми часовъ вечера Чудовъ, поджигаемый нетерпѣніемъ, побѣжалъ къ Мерцалову.

Мерцаловъ лежалъ на диванѣ, когда раздался звонокъ. Лицо его выражало сильное волненіе; въ рукахъ была рукопись «Каменнаго Сердца». Услышавъ звонокъ, онъ быстро вскочилъ съ дивана и встрѣтилъ Чудова слѣдующими словами, въ которыхъ отражались и досада и нетерпѣніе:

— Гдѣ вы пропадали?

— Я? Обѣдалъ... Мы обѣдали с Глажиевскимъ въ Hôtel de Paris.

— Я васъ жду, жду; думалъ ужъ послать къ вамъ. Что онъ молодой человѣкъ?

---

[1]) Некрасову было тогда 24 года, а Бѣлинскому—35. К. Ч.

[2]) Въ рукописи оставлено, свободное мѣсто, чтобы впослѣдствіи вписать сюда заглавіе книги. К. Ч.

Увидавъ въ рукахъ Мерцалова знакомую рукопись, Чудовъ догадался, о комъ идетъ рѣчь.

— Молодой,—отвѣчалъ онъ.

— А какъ?

— Ему, я думаю, лѣтъ двадцать пять или двадцать четыре.

— Слава Богу!—съ восторгомъ воскликнулъ Мерцаловъ и перевелъ духъ: какъ будто камень свалился съ его груди.—Этотъ вопросъ меня очень занималъ. Я просто измучился, дожидаясь васъ. Такъ ему только двадцать четыре года?

— Никакъ не болѣе двадцати пяти!—отвѣчалъ Чудовъ.

— Ну, такъ онъ геніальный человѣкъ!—съ эффектомъ произнесъ Мерцаловъ.

— Я вамъ говорилъ,—замѣтилъ обрадованный Чудовъ.

— Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли такъ говорить о подобной вещи! Пришелъ, повернулся, оставилъ рукопись и пропалъ!.. Превосходная вещь,—мало ли что мы называемъ превосходною вещью. Это слово такъ же примѣняется и къ пустенькому водевилю, какъ и къ дѣльной вещи. Это художественное геніальное произведеніе!—съ одушевленіемъ продолжалъ Мерцаловъ.—Я вамъ скажу, Чудовъ,—заключилъ онъ, вспыхнувъ такъ, что лицо его покраснѣло, и сдѣлавъ рѣзкое движеніе рукой,—я не возьму за «Каменное Сердце» всей русской литературы!

Потомъ пошли толки о достоинствахъ «Каменнаго Сердца», о художественномъ его значеніи, о глубокомъ принципѣ, который лежитъ въ его основаніи, о необыкновенной концепціи его частей и замкнутости цѣлаго (тогда подобныя слова были въ большомъ употребленіи въ литературномъ языкѣ); далѣе говорилъ Мерцаловъ (и говорилъ чрезвычайно умно, съ большимъ одушевлениемъ) отдѣльно о каждомъ лицѣ романа и рѣшительно не находилъ достаточныхъ похвал искусству автора.

— Главное, что поражаетъ въ немъ,—сказалъ онъ, между прочимъ,—это удивительное мастерство живьёмъ ставить лицо передъ глазами читателя, очеркнувъ его только двумя-тремя словами, но такими, что, если бъ иной писатель исписалъ десять страницъ, то и тогда лицо его не выступило бы такъ рѣзко и рельефно. И потомъ какое глубокое, теплое сочувствіе къ нищетѣ, къ страданію. Скажите, что онъ, должно-быть, бѣдный человекъ—и самъ много страдалъ?

Тутъ пошли разспросы о личности Глажіевскаго: Чудовъ пересказалъ все, что успѣлъ узнать и замѣтить объ его характерѣ и образѣ жизни. Мер-

цаловъ, интресовался даже знать его манеры и общій очеркъ физіономіи и дѣлалъ изо всего, что передавалъ ему Чудовъ, болѣе или менѣе удачныя примѣненія къ «Каменному Сердцу», объясняя, какъ тогда любили выражаться, автора его произведеніемъ и наоборотъ: произведеніе—его авторомъ. Въ этихъ соображеніяхъ, если и не было, по бѣдности фактовъ, истины, то они отличались остроуміемъ и умными тонкостями, въ которыя вдаваться Мерцаловъ былъ большой мастеръ и охотникъ. Довольно было ему самаго незначительнаго факта, какъ уже воображеніе его создавало цѣлую личность человѣка или, если дѣло шло о событіи, оно тотчасъ давало ему недостающую стройность,— Мерцаловъ мастерски и совершенно логически объяснялъ его причины уклоненія съ прямого пути и вѣроятный исходъ; любо было слушать, какъ отрывокъ факта, событія или не вполнѣ дошедшей еще до насъ далекой газетной новости—пріобрѣталъ въ его устахъ и форму и душу, превращаясь въ нѣчто стройное и цѣлое, подобно зерну, брошенному въ землю, которое постепенно превращается въ высокое и прекрасное дерево, съ крѣпкимъ стволомъ и широкими, красиво-раскидывающимися листьями. И забавно было видѣть потомъ (а подчасъ и досадно, потому что онъ развивалъ свои положенія такъ остроумно, что и самъ слушатель нерѣдко увлекался ими и вѣрилъ имъ),—забавно было видѣть, когда вторая половина факта въ свою очередь, наконецъ, также достигала до него и убивала совершенно первую, уничтожая въ то же время и зданіе, выстроенное имъ съ такою тщательностью и такою повидимому, логичностью,—зданіе, которое онъ привыкъ уже почитать не пустымъ фантомомъ.

Онъ былъ большой мастеръ, что называется, логически проводить мысль, восходя до самыхъ отдаленныхъ послѣдствій, но не всегда разборчиво бралъ точку отправленія своей мысли и оттого,— весьма, повидимому, логическимъ путемъ,—приходилъ иногда къ чрезвычайно страннымъ заключеніямъ. Вѣрность, съ которою онъ часто уловлялъ такимъ путемъ истину, и общее безпредѣльное поклоненіе пріятелей, слушавшихъ его, какъ оракула, не позволяли ему обуздывать врожденную живость своей фантазіи.

Мерцаловъ сказалъ Чудову, что, дожидаясь его въ мучительной агоніи (онъ любилъ выражаться сильно), составилъ-было уже нравственный и даже внѣшній портретъ автора «Каменнаго Сердца», но признался что портретъ его не совсѣмъ сходенъ съ подлинникомъ.

— Всего болѣе радуетъ, — говорилъ онъ, — что ему только двадцать пять лѣтъ. Если бъ онъ былъ уже человѣкъ зрѣлаго возраста, тогда, всего вѣроятнѣе, что изъ него ничего болѣе не вышло бы. Тогда на «Каменное Сердце» можно было бы смотрѣть, какъ на результатъ цѣлой и лучшей поло-

вины жизни умнаго и наблюдательнаго человѣка, много пережившаго и перечувствовавшаго. Но написать такую вещь въ двадцать пять лѣтъ можетъ только геній, который силою постиженія въ одну минуту схватываетъ то, для чего обыкновенному человѣку потребенъ опытъ многихъ лѣтъ! [1]).

Мерцаловъ говорилъ и о недостаткахъ «Каменнаго Сердца» (какъ тонкій критикъ, онъ не могъ не замѣтить ихъ, да и самое его званіе повелѣвало найти ихъ), но недостатки эти — растянутость, многословіе, неумѣстное повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ, обличающее нѣкоторую манерность — отнесены были къ молодости и неопытности автора, конечно, нисколько не служащихъ обвиненіемъ ни ему самому, ни его произведенію.

До глубокой ночи проговорили пріятели о «Каменномъ Сердцѣ» и его авторѣ, и Чудовъ ушелъ, пообѣщавъ завтра же привести къ Мерцалову новаго геніальнаго человѣка. Какъ не поздно было, однакожъ Чудовъ забѣжалъ къ Глажіевскому и откровенно, съ юношескимъ увлеченіемъ, пересказалъ ему мнѣніе Мерцалова о «Каменномъ Сердцѣ». Въ продолженіе короткаго знакомства съ Глажіевскимъ Чудовъ имѣлъ много случаевъ наблюдать выраженіе радости въ лицѣ новаго писателя, которая тѣмъ разительнѣе отражалась въ немъ, что въ обыкновенномъ спокойномъ состояніи оно уподоблялось сѣроватой и мглистой осенней тучѣ, готовой ежеминутно разрѣшиться дождемъ, пополамъ со снѣгомъ и слякотью. Но ни разу еще не замѣтилъ Чудовъ въ лицѣ Глажіевскаго такого счастья, какимъ озарилось оно при разсказѣ о похвалахъ Мерцалова. Повторилось нѣчто въ родѣ обморока, приключившагося съ Глажіевскимъ ночью. Тѣмъ же дрожащимъ, разслабленнымъ, неровнымъ голосомъ переспрашивалъ онъ по нѣскольку разъ, что именно говорилъ Мерцаловъ, повторяя самъ его отзывы, какъ будто вникалъ въ нихъ и взвѣшивалъ значительность каждаго слова, поминутно усмѣхаясь своимъ дребезжащимъ нервнымъ смѣхомъ и тщетно усиливаясь сообщить солидность и спокойствіе своей физіономіи.

Чудовъ не безъ основанія подумалъ, что, не будь свидѣтелей, геніальный человѣкъ, вѣроятно, пустился бы въ присядку, какъ дѣлаютъ обыкновенные смертные въ минуты сильной радости. Въ то же время Чудовъ замѣтилъ, что его собственныя похвалы «Каменному Сердцу» уже не такъ радостно выслушиваются Глажіевскимъ: ему какъ будто все казалось ихъ мало, и онъ спрашивалъ небрежно:

— Григорій Александрычъ, что ли, такъ говоритъ?—и при отвѣтѣ Чудова, что такъ онъ самъ думаетъ, но что, вѣроятно, и Мерцаловъ со-

[1]) На поляхъ написано: „Кто такъ начинаетъ...“ К. Ч.

гласится съ его мнѣніемъ, выражалъ въ своемъ лицѣ нѣчто въ родѣ презрѣнія: такъ по крайней мѣрѣ казалось Чудову.

— А вѣдь вотъ Разбѣгаевъ,—замѣтилъ, между прочимъ, Глаж[іевскій].— Вѣдь вотъ онъ пустой малый, а вкусъ у него есть; тактъ есть... И добрый онъ; безподобный малый: не завистливая душа! Я улыбнулся—да и вы, кажется, тоже? (тутъ онъ значительно, не безъ ироніи взглянулъ въ глаза Чудову),— когда Разбѣгаевъ назвалъ мое «Каменное Сердце» геніальной вещью, а вотъ теперь Григорій Александрычъ говоритъ то же!

Въ этомъ замѣчаніи Чудовъ какъ бы слышалъ упрекъ себѣ въ томъ, что при первомъ знакомствѣ съ Глаж[іевскимъ] былъ остороженъ въ похвалахъ его произведенію и не только ни разу не назвалъ «Каменнаго Сердца» геніальнымъ произведеніемъ, но даже не удостоилъ никакимъ замѣчаніемъ мнѣніе Разбѣгаева, какъ пустое и вздорное.

Это его нѣсколько удивило.

На другой день Чудовъ ждалъ Глажіевскаго, чтобъ отправиться вмѣстѣ къ Мерцалову.

Условное время уже прошло, а его не было; зная нетерпѣливый нравъ Мерцалова, Чудовъ побѣжалъ къ Глажіевскому.

Геніальный человѣкъ былъ не одѣтъ; лицо его носило признаки долгаго колебанія, борьбы съ самимъ собою и слабости.

— Что же вы?—съ упрекомъ сказалъ Чудовъ.

— Я не пойду къ Мерцалову,—отвѣчалъ Глажіевскій.

— Какъ? Что такое? Отчего?

— Да такъ... право... Не лучше ли будетъ не итти?—произнесъ онъ менѣе рѣшительно, потупивъ глаза въ полъ.

— Отчего же?

— Да я такъ думалъ... Я сегодня цѣлую ночь думалъ... Вѣдь вы говорите, онъ спрашивалъ обо мнѣ, о моемъ лицѣ даже... что, если... я боюсь... если...

Тутъ онъ вдругъ остановился, какъ будто осѣкся и потомъ съ рѣшительностію прибавилъ:—Нѣтъ, лучше не итти [1])!

---

[1]) Здѣсь зачеркнуто интересное мѣсто:—„Что ему, какая нужда до меня, до моей физіономіи; онъ прочелъ произведеніе, сдѣлалъ свое заключеніе—ну и пусть пишетъ, пусть пишетъ, какъ говорилъ — хоть цѣлую книгу. А до автора какая нужда!..“ Чудовъ невольно улыбнулся, понявъ, въ чемъ дѣло: очевидно было, что Глажіевскій боялся своей физіономіей разрушить эффектъ своего произведенія, хотя подобный страхъ былъ довольно основательный“. К. Ч.

— Какое ребячество!—воскликнулъ съ жаромъ Чудовъ.—Неужели вы боитесь, что эффектъ вашего произведенія разрушится, когда Мерцаловъ увидитъ васъ!

— Съ чего вы взяли, что я такъ думаю?—рѣзко возразилъ геніальный человѣкъ, обидясь тѣмъ, что Чудовъ угадалъ причину его раздумья, которое онъ и высказывалъ и не высказывалъ.—Я просто не пойду, потому что разсудилъ, что мнѣ нечего тамъ дѣлать. Что я ему? Какую роль буду играть я у него? Что между нами общаго? Онъ ученый человѣкъ, извѣстный литераторъ, знаменитый критикъ, а я... что я такое?

— Осипъ Михайлычъ! Осипъ Михайлычъ!—съ кроткимъ упрекомъ замѣтилъ Чудовъ.—Какое смиреніе! И передъ кѣмъ? Развѣ я не читалъ «Каменнаго Сердца», развѣ Мерцаловъ не читалъ его?

— Такъ что жъ такое?—сдерживая улыбку удовольствія, тихо и вкрадчиво произнесъ Глажіевскій.

— Какъ будто вы не знаете, какъ будто не говорили вамъ, что, если не ваши личныя достоинства, которыхъ Мерцаловъ еще не знаетъ, то ваше произведеніе...

Лицо геніальнаго человѣка процвѣло; каждая веснушка его налилась радостью, но, стараясь скрыть ее, онъ перебилъ Чудова съ притворной досадой и смиреніемъ:

— Полноте, полноте! Вы, можетъ быть, такъ думаете. А онъ? Вотъ онъ вчера расхвалилъ..., а теперь, можетъ быть, поохладѣлъ... и ужъ совсѣмъ иначе думаетъ...

Тутъ опять тѣнь дѣйствительнаго сомнѣнія и страха показалась въ его лицѣ, которое имѣло обыкновеніе мѣняться тысячу разъ въ минуту, то изображая собою, какъ мы уже замѣтили, угрюмую тучу, готовую разрѣшиться дождемъ и слякотью,—то вдругъ мгновенно озаряясь яркимъ играющимъ свѣтомъ, какимъ блеститъ солнце по морозу.

— Мерцаловъ не такой человѣкъ, да и «Каменное Сердце» не такая вещь, чтобы такъ скоро разочароваться,—отвѣчалъ Чудовъ (при чемъ лицо геніальнаго человѣка опять измѣнилось—къ морозу).—Онъ привыкъ обдуманно произносить сужденія...

— И прекрасно, и прекрасно!—замѣтилъ Глажіевскій.—Чего же ему еще? Прочелъ романъ, сдѣлалъ, свое заключеніе о немъ—ну и пусть пишетъ, пусть хоть цѣлую книгу, какъ говорилъ самъ вчера, пишетъ...

— Такъ вы не пойдете?

— Нѣтъ... развѣ въ другой разъ когда... послѣ... будетъ еще время...

— Ну какъ хотите!—съ досадой отвѣчалъ Чудовъ, которому надоѣло упрашивать его. Онъ также не имѣлъ охоты вторично пускаться въ доказательства, почему Мерцалову интересно видѣть его,—къ чему Глажіевскій какъ бы вызывалъ его, прибавивъ:

— Да и что ему интереснаго въ человѣкѣ, который... который...

— Прощайте!—вмѣсто отвѣта рѣзко сказалъ Чудовъ и ушелъ.

Едва сдѣлалъ онъ десять шаговъ по тротуару, какъ услышалъ за собой крикъ:

— Тихонъ Васильичъ! Тихонъ Васильичъ!

Онъ обернулся и увидѣлъ Терентія, бѣжавшаго за нимъ безъ шапки.

— Что?

— Баринъ васъ проситъ. Онъ приказалъ сказать, что идетъ; только сейчасъ одѣнется.

Чудовъ воротился.

— Я подумалъ,—сказалъ ему Глажіевскій,—ловко ли будетъ? Онъ, можетъ быть, ждетъ... Все равно вѣдь бѣды большой нѣтъ, если и сходишь, вѣдь нѣтъ?—спрашивалъ онъ, какъ будто еще сомнѣваясь, дѣйствительно ли нѣтъ бѣды.

— Какая же бѣда, когда онъ самъ просилъ и ждетъ. Я ужъ вамъ сколько разъ повторялъ.

Глажіевскій одѣлся, и они пошли. Всю дорогу Глажіевскій разспрашивалъ о привычкахъ Мерцалова; говорилъ, что онъ человѣкъ не свѣтскій, не умѣетъ ни войти, ни поклониться, ни говорить съ незнакомыми людьми. Чудовъ отвѣчалъ ему, что с Мерцаловымъ нужно вести себя просто и больше ничего!

Когда они взошли на лѣстницу и Чудовъ взялся за звонокъ [1],— Погодите!—произнесъ Глажіевскій такимъ судорожнымъ, рѣзкимъ голосомъ, что Чудовъ испугался и невольно принялъ руку съ звонка.

— Что съ вами?

— Нѣтъ, ей-Богу... нѣтъ... я рѣшительно сообразилъ, что мнѣ не должно итти. Я не пойду! Идите одни,—говорилъ Глажіевскій такимъ голосомъ, какъ будто Чудовъ былъ посланникомъ ада, пришедшимъ тащить его въ царство тьмы.

---

[1]) Тутъ, по непонятной причинѣ, лицо, именуемое въ повѣсти Чудовымъ, внезапно получаетъ имя Тросникова. Этотъ Тросниковъ—герой нѣсколькихъ произведеній Некрасова, доселѣ не обнародованныхъ. Мы, для избѣжанія путаницы, оставили за нимъ прежнее имя. К. Ч.

И онъ бросился съ лѣстницы.

— Какъ хотите! — отвѣчалъ взбѣшенный Чудовъ. — Мнѣ все равно: только смотрите: Мерцаловъ разсердится: онъ человѣкъ желчный, раздражительный..

— Разсердится?

Не успѣлъ Чудовъ договорить послѣдняго слова, какъ Глажіевскій стоялъ уже рядомъ съ нимъ и искалъ рукою звонокъ: ручка его была съ другой стороны двери, чего онъ не видалъ, хотя смотрѣлъ во всѣ глаза. Эти глаза и вообще вся физіономія Глажіевскаго походила на тучу, уже разрѣшившуюся всѣмъ тѣмъ, о чемъ было сказано выше; сѣрый осенній день былъ въ полномъ разгулѣ; вглядываясь въ нее, можно было даже слышать визгливое и жалобное завываніе вѣтра, сопровождающее осеннія непогоды...

Чудовъ только тогда понялъ долгую нерѣшительность Глажіевскаго, когда увидѣлъ, до какой изумительной степени авторъ «Каменнаго Сердца» оробѣлъ, представъ предъ грозныя очи критика. Въ минуты сильной робости онъ имѣлъ привычку съеживаться, уходить въ себя до такой степени, что обыкновенная застѣнчивость не могла подать о состояніи его ни малѣйшаго понятія. Оно могло быть только охарактеризовано имъ же самимъ изобрѣтеннымъ словомъ «стушеваться», которое и пришло теперь въ голову Чудову. Лицо его все вдругъ осовывалось, глаза исчезали подъ вѣками, голова уходила въ плечи; голосъ, всегда удушливый, окончательно лишался ясности и свободы, звуча такъ, какъ будто геніальный человѣкъ находился въ пустой бочкѣ, недостаточно наполненной воздухомъ, и притомъ его жесты, отрывочныя слова, взгляды и безпрестанныя движенія губъ, выражающихъ подозрительность и опасеніе, имѣли что-то до такой степени трагическое, что смѣяться не было возможности.

Однакожъ простой и ласковый пріемъ Мерцалова, а особенно похвалы, которыми онъ не замедлилъ осыпать «Каменное Сердце», скоро возвратили Глажіевскому употребленіе способностей. Онъ даже перешелъ въ другую крайность: вздумалъ щегольнуть развязностью, промурлыкалъ какой-то стихъ изъ пѣсенки и разсказалъ анекдотъ о своемъ Терентіи, который, по незнанію грамоты, съѣлъ какой-то пластырь, прописанный ему для наружнаго употребленія. Анекдотъ не былъ забавенъ, а изложеніе его отличалось дѣланностью и двумя-тремя натянутыми сарказмами.

— Ну, Богъ съ нимъ, съ вашимъ Терентьемъ, — замѣтилъ Мерцаловъ. — А вотъ скажите мнѣ, долго вы писали ваше «Каменное Сердце»?

Глажіевскій нѣсколько смѣшался.

— Я?.. Не долго...

— А какъ?

Глажіевскій не вдругъ отвѣчалъ:

— Да какъ? Началъ я его въ маѣ... а кончилъ, кончилъ... въ томъ же году.

Чудову такой отвѣтъ показался нѣсколько страннымъ; еще недавно Глажіевскій сказалъ ему, что писалъ свой романъ четыре года и шестнадцать разъ переписывалъ.

«Неужели онъ, — подумалъ Чудовъ, — стыдится передъ Мерцаловымъ сказать правду?»

— Скоро! — замѣтилъ Мерцаловъ. — Впрочемъ, въ дѣлѣ творчества время ничего не значитъ. Пушкинъ писалъ нѣкоторыя свои произведенія необыкновенно скоро, другія, напротивъ, доставались ему, повидимому, съ огромнымъ трудомъ: мнѣ случалось видѣть рукопись нѣкоторыхъ главъ «Онѣгина»: исчеркано, перечеркнуто по десять разъ каждое слово, — а результатъ одинъ: и то, что написалось скоро, и то, что писано долго и съ напряженнымъ трудомъ, читается одинаково легко, съ одинаковымъ наслажденіемъ. И то и другое одинаково геніально! Байронъ вообще писалъ очень скоро. «Манфреда» своего написалъ онъ въ двадцать два дня, а нѣкоторыя пѣсни «Донъ-Жуана» стоили ему не болѣе одной ночи. Нашъ Гоголь пишетъ, говорятъ, трудно, по нѣскольку разъ переставляя одно слово, — его рукописи тарабарская грамота, а можно ли замѣтить, читая его плавную, текучую, картинную прозу, что она стоила автору такихъ усилій? Я имѣю автографы и цѣлыя рукописи многихъ замѣчательныхъ писателей. Хотите видѣть?

Мерцаловъ говорилъ добродушно, не думая о впечатлѣніи, которое производятъ его слова, но, если бъ онъ слѣдилъ за лицомъ Глажіевскаго, онъ увидѣлъ бы, что не столько его слова и автографы великихъ людей занимали слушателя, сколько то обстоятельство, что онъ, великій русскій критикъ, по поводу его, Глажіевскаго, заговорилъ о Пушкинѣ, Байронѣ и Гоголѣ, — лицо автора «Каменнаго Сердца» всего краснорѣчивѣе выражало чувства, возбужденныя въ немъ такимъ лестнымъ сближеніемъ; по этому лицу Чудовъ, уже начинавшій понимать Глажіевскаго, тотчасъ догадался, въ чемъ дѣло!

— Какой умный человѣкъ! — сказалъ онъ Чудову, когда Мерцаловъ ушелъ за автографами, — и какъ удивительно, какъ тонко понимаетъ изящное! Вотъ настоящій критикъ!

Мерцаловъ былъ дѣйствительно умный человѣкъ, но умъ его, конечно, проявлялся не въ такихъ сценахъ и обстоятельствахъ. Онъ очень скоро

сбился съ роли, которую думалъ выдержать, принявъ твердое намѣреніе быть умѣреннымъ въ похвалахъ. Довольно было одной фразы Глажіевскаго, сказанной необыкновенно кроткимъ тономъ смиренія:

— Вы, кажется, преувеличиваете достоинства моего романа?

И добродушный Мерцаловъ, вспыхнувъ, принялся доказывать, почему считаетъ «Каменное Сердце» художественнымъ, великимъ, геніальнымъ произведеніемъ. Глажіевскій время отъ времени бросалъ словечко (не безъ умыслу, как начало казаться Чудову), которое производило дѣйствіе масла, влитаго на огонь: Мерцаловъ горячился еще болѣе и забывалъ всякую умѣренность въ выраженіяхъ, повторяя снова и торжественно вчерашнюю фразу, что онъ за «Каменное Сердце» не возьметъ всей русской литературы!

— Да вотъ увидите: я буду писать: тогда только раскроется все великое художественное значеніе «Каменнаго Сердца». Это такой романъ, о которомъ можно написать цѣлую книгу вдвое толще его самого!

— Полноте, Григорій Александровичъ! Вы, право, такъ ко мнѣ добры—да что-жъ тутъ напишешь! Признаюсь, приведись на меня, я не нашелъ бы, чѣмъ наполнить и коротенькую рецензію. Похвала коротка,—а если растянуть ее, выйдетъ однообразно...

— Это только доказываетъ,—не безъ маленькой гордости отвѣчалъ Мерцаловъ,—что вы не критикъ и взялись бы не за свое дѣло. Разбирать подобное произведеніе значитъ выказать его сущность, значеніе, при чемъ легко можно обойтись и безъ похвалы: дѣло слишкомъ ясно и громко говоритъ само за себя; но сущность и значеніе подобнаго художественнаго созданія такъ глубоки и многозначительны, что в рецензіи нельзя только намекнуть на нихъ.

— Ну, это ваше дѣло, ваше дѣло—отвѣчалъ Глажіевскій, давая знать, что онъ совершенно убѣжденъ доводами критика.

Бесѣда въ этомъ родѣ продолжалась еще часа полтора. Прощаясь съ Глажіевскимъ, Мерцаловъ объявилъ, что надѣется очень скоро его увидѣть опять у тебя.

— На-дняхъ я соберу у себя кой-кого изъ моихъ пріятелей, и мы введемъ васъ въ нашъ литературный кругъ. Люди всѣ очень хорошіе,—я готовлю имъ хорошее наслажденіе: мы прочтемъ «Каменное Сердце»...

Черезъ три дня Глажіевскій дѣйствительно получилъ записку слѣдующаго содержанія:

«Любезный Осипъ Михайловичъ! У меня собралось сегодня нѣсколько хорошихъ пріятелей, они всѣ будутъ рады познакомиться съ авторомъ «Каменнаго Сердца», которое вы будете такъ добры,—прочтете намъ и прочее прочее.

Мерцаловъ».

По прочтеніи записки, лицо Глажіевскаго вытянулось въ длинный вопросъ: итти или нѣтъ?

. . . .

. . . .

Вѣсть о новомъ геніальномъ романѣ, о новомъ литературномъ геніи съ необыкновенной быстротою разнеслась въ литературномъ кружкѣ, центромъ и свѣтиломъ котораго былъ Мерцаловъ.

Пріятели, подходившіе къ нему, не видали его иначе какъ съ рукописью «Каменнаго Сердца» въ рукахъ, изъ которой онъ тотчасъ начиналъ читать отрывки, восхищаясь ими и отдавая должную дань удивленія таланту автора.

Литературный кружокъ, составившійся около Мерцалова, заключалъ въ себѣ все, что тогда в литературе было молодого, талантливаго и благороднаго. Но, кромѣ литераторовъ, къ нему принадлежало несколько лицъ, ничего никогда не писавшихъ, и которые, вѣроятно, никогда ничего не напишутъ. Тѣмъ не менѣе, они однакожъ, не имѣли другого круга, кромѣ литературнаго, въ которомъ и проводили все свое время, свободное отъ служебныхъ или другихъ занятій.

Ихъ терпѣли тамъ, да и попадали они туда, благодаря покровительству Мерцалова или другого литератора, имѣвшаго авторитетъ: вступленіе ихъ въ литературный кругъ всегда оправдывалось какими-нибудь достоинствами, которыя открывали въ нихъ меценаты, а за ними и другіе. «Онъ хотя и не пишетъ стиховъ, но онъ **поэт в душе**—говорили про одного.—Посмотрите, какъ онъ понимаетъ прекрасное! Какъ умѣетъ подметить каждую тончайшую черту въ поэтическомъ произведеніи!» Другого именовали «**благородной личностью**», удивляясь его широкой способности сочувствовать прекрасному, рассказывая о немъ все одинъ и тотъ же анекдотъ, въ доказательство его необыкновенной нравственной силы. Въ третьемъ признавали необыкновенный юморъ. Особенно много было такихъ, которые умѣли сочувствовать, почему ихъ и можно назвать «литературными сочувствователями». Въ самомъ же дѣлѣ они были добрые малые, большей частью совершенно безразличные, умѣвшіе сдѣлаться необходимыми свѣтиламъ кружка, кто по своимъ связямъ, кто по богатству, а кто просто по особенной угодливости и умѣнью льстить.

Поэтъ въ душѣ былъ богатъ—и вся компанія разъ въ недѣлю у него ужинала съ шампанскимъ и трюфелями. Кромѣ того въ важныхъ случаяхъ онъ давалъ деньги взаймы, чѣмъ литераторы съ кредитомъ нравственнымъ, но не существеннымъ, не упускали пользоваться.

Благородная Личность, отличавшаяся необыкновенной наклонностью ко сну, апатіи и тучности, умѣла сделаться необходимою, благодаря своей ловкости и неутомимости въ исполненіи порученій. Нужно ли достать книгу заказать въ долгъ платье, устроить дѣло съ книгопродавцемъ, заставить кого-нибудь задать обѣдъ и пригласить именно тѣхъ-то и тѣхъ-то, занять денегъ,— благородная личность бросала собственныя дѣла и съ жаромъ спѣшила выполнить желаніе поручителя, разумѣется, если онъ былъ человѣкъ съ вѣсомъ.

Если литераторъ уѣзжалъ куда-нибудь далеко и имѣлъ нужду въ корреспондентѣ, никто и никогда не могъ быть надежнѣе благородной личности. Съ непостижимымъ жаромъ бралась она извѣщать васъ обо всемъ, что дѣлается въ литературѣ въ ваше отсутствіе; управлять вашими крестьянами, если они имѣются въ Петербургѣ, посылать вамъ ваши любимыя сигары, и дѣлала она все съ такою готовностью, любезностью, такъ безкорыстно, такъ исправно, что слава благородной личности росла съ необыкновенной быстротою и, не довольствуясь литературнымъ кругомъ, начала проникать уже въ другіе круги.

Скоро она открыла ему дорогу въ широкую сферу дѣятельности, гдѣ благородная личность и не замедлила проявиться въ такомъ блескѣ, что описаніе подвиговъ благородной личности въ своемъ мѣстѣ нашихъ Записокъ составитъ нѣсколько отдѣльныхъ главъ, а можетъ-быть и цѣлый томъ.

Художественная Натура—отличалась почти тѣмъ же, чѣмъ и поэтъ въ душѣ, съ тою только разницею, что ужины, которые съ стѣсненным сердцемъ давала она иногда, чтобъ поддержать свое достоинство, были невѣроятно плохи, а деньги ссужала она съ большимъ трудомъ, малыми суммами, и притомъ не иначе, какъ подъ вѣрные залоги, взимая изрядные проценты.

Практическая Голова, принимавшая участіе въ одной акціонерной (sic) компаніи, разошедшейся «вследствіе неблагопріятнаго оборота дѣлъ» и приславшей своимъ акціонерамъ вмѣсто дивиденда счетъ, по которому приходилось приплатить порядочную сумму. Практическая голова брала тѣмъ, что помогала литераторамъ, какъ людямъ трудящимся и способнымъ, пріобрѣтать, въ крайнихъ случаяхъ извертываться ихъ же собственными средствами и доставать денегъ, когда уже другимъ путемъ достать ихъ не было возможности. Она зналась съ книгопродавцами, хорошо знала моральный кредитъ каждаго литератора, и дѣйствительно между ними была самая практическая голова.

Элементъ Свѣтскости держался тѣмъ, что приносилъ собранныя, впрочемъ изъ третьихъ рукъ, новости и сплетни изъ свѣтскаго круга, до которыхъ всѣ вообще литераторы весьма падки.

Библіотека снабжала литераторовъ рѣдкими и дорогими изданіями и вообще всякими нужными книгами.

Газета дополняла Элементъ Свѣтскости: это былъ человѣкъ, съ утра до ночи шатавшійся по разнымъ петербургскимъ кругамъ, выслушивавшій и тотчасъ вписывавшій въ свою книжечку даже все, что доводилось услышать на улицѣ.

Наконецъ **Всесторонняя** (она же и воспріимчивая) **Натура** брала тѣмъ, что все знала, все видѣла, всему сочувствовала и всѣмъ наслаждалась, глубоко воспринимала въ свое широкое лоно каждое явленіе жизни, произведеніе пера, рѣзца и кисти и, подобно пчелѣ, собирала со всего сокъ наслажденій. Такъ о немъ говорили, замѣчая, что счастливая способность его всѣмъ наслаждаться, все понимать, всему сочувствовать, не отдаваясь ничему исключительно, достойна зависти. Въ самомъ же дѣлѣ онъ пріобрѣлъ вѣсъ тѣмъ, что три года пространствовалъ за границей, былъ въ Парижѣ и Лондонѣ, видѣлъ всѣ замѣчательныя картинныя галлереи и обладалъ необыкновеннымъ нахальствомъ говорить обо всемъ,—хоть о китайской грамматикѣ,—рѣзко, рѣшительно, съ ученымъ видомъ знатока.

Таковы были разнородные элементы, составлявшіе ту часть кружка, которой мы дали названіе литературныхъ сочувствователей. Между ними были два-три человѣка ученыхъ (къ нимъ принадлежала всеобъемлющая натура), которые были бы у мѣста во всякомъ кругу; остальные были рѣшительно безразличны и, кромѣ исчисленныхъ средствъ, держались въ литературномъ кругу неистощимой и подобострастной лестью, раболѣпствомъ и угодливостью, доходившей до того, что многіе почитали счастьемъ, если литераторъ поручалъ имъ переписать свое сочиненіе, и увѣряли, что исполняя работу, чувствовали восторженный трепетъ и проливали слезы умиленія: другіе подвергались добровольному униженію, выдерживая довольно непріятныя сцены, когда Мерцаловъ, раздражавшійся довольно скоро, находился въ моментѣ распаденія; въ такія минуты онъ не почиталъ неудобнымъ объявить некстати пришедшему литературному сочувствователю: «убирайтесь вонъ», или встрѣтить другого такимъ образомъ:

— Куда вы къ чорту пропали? Мнѣ нуженъ былъ до зарѣзу Conversations Lexicon, я посылалъ къ вамъ три раза, вѣчно васъ нѣтъ, когда нужно, а какъ не до васъ—вы тотчасъ тутъ какъ тутъ! И чего вы пришли, я просилъ не васъ, а лексиконъ. Принесли?

— Нѣтъ, отданъ Лыкошину.

— Отданъ? Вотъ такъ! И кто васъ просилъ отдавать!

Бѣдный сочувствователь молчалъ, не осмѣливаясь напомнить даже, что библіотека принадлежитъ ему и что онъ воленъ распоряжаться своими книгами.

Если ужинъ, данный сочувствователемъ, оказывается дуренъ, ему тотчасъ же дѣлался строжайшій выговоръ:

— Подошвы, батюшка, подошвы!—кричалъ одинъ, вздѣвъ на вилку котлету, и подносилъ ее къ носу хозяина.

— Уксусъ!—говорилъ другой, пробуя сотернъ.

— Сандалъ!—говорилъ третій, выплескивая на тарелку красное вино.

И такъ далѣе[1]). Иногда кончалось тѣмъ, что хозяина приводили въ слезы. Но страсть къ литературному кругу скоро подавляла въ немъ претерпѣнное униженіе, и черезъ недѣлю онъ снова созывалъ пріятелей ужинать...

— Смотрите!—говорили ему въ одинъ голосъ приглашаемые.—Смотрите!

— Смотри!—возглашалъ басомъ Парутинъ, говорившій всякому безъ исключенія «ты», выразительно грозя пальцемъ амфитріону.

Впрочемъ, страсти нѣкоторыхъ литературныхъ сочувствователей созывать литераторовъ, которые въ такихъ случаяхъ обыкновенно освѣдомлялись, будетъ ли ужинъ, доходила до такой степени, что они стоили такого обхожденія.

Человѣкъ ограниченный, рѣдко и неохотно допускаемый въ литературный кругъ (хотя въ горячихъ усиліяхъ добиться такого счастья онъ даже ѣздилъ за границу, при совершенномъ незнаніи французскаго языка), желая сблизиться съ литераторами, изъявляетъ желаніе дать имъ ужинъ. Онъ робко сообщаетъ свое требованіе Парутину.

— А ужинъ будетъ?—угрюмо спрашиваетъ Парутинъ.

— Будетъ, будетъ...

— Съ шампанскимъ?

— Какъ же!

— Смотри, чтобъ шампанскаго было довольно...

— Будетъ, повѣрьте, будетъ. Только позвольте васъ спросить: жена моя также желаетъ видѣть литераторовъ... Ну, понимаете, ей интересно: она можетъ присутствовать?

— Жена?—восклицаетъ Парутинъ.—Жена никогда. Чтобы духу ея не было!

---

[1]) За этими словами въ подлинникѣ слѣдуетъ недописанная фраза: „Въ заключеніе нѣкто Парутинъ, человѣкъ съ строгими и непреклонными правилами, щеголявшій правдивостью“... К. Ч.

— Но она потомъ уйдетъ; ей только посмотрѣть...

— Ни, ни, ни!—возражаетъ Парутинъ, грозно поводя чубукомъ, который у него въ зубахъ.—Жены не надо, слышишь?—И дѣтей не надо... Слышишь!

И робкій сочувствователь гонитъ со двора жену и дѣтей, чтобы только имѣть честь потчевать ужиномъ господъ литераторовъ. Юные сочувствователи, находящіеся еще подъ опекой папенекъ и маменекъ, иногда также поддаются желанію созвать литераторовъ, долго борются они съ искушеніемъ; наконецъ, все, повидимому, устроено хорошо; комната ихъ, къ счастію, особо, въ третьемъ этажѣ, и притомъ родителей нѣтъ дома. Сочувствователь спѣшитъ воспользоваться благопріятнымъ случаемъ и созываетъ компанію.

Пиръ въ полномъ разгарѣ; только что поужинали, шампанское льется рѣкою, и подъ его живительнымъ вліяніемъ разговоръ все становится одушевленнѣе; наконецъ, начинается горячій споръ, постепенно переходящій въ крикъ.

Вдругъ посреди всеобщаго одушевленія тихими шагами, въ туфляхъ, халатѣ и колпакѣ, входитъ старикъ, съ раздраженнымъ, пылающимъ лицомъ, съ сальнымъ огаркомъ въ рукѣ. Онъ падаетъ, какъ осколокъ бомбы, посреди веселой компаніи, и все въ минуту умолкаетъ, устремивъ вопрошающій и недовольный взоръ къ сочувствователю, какъ полотно, блѣдному и трепещущему; воцаряется глубокая тишина, посреди которой, подобно грому, раздается грозный, раздражительный голосъ старика:

— Мальчишка! Что ты дѣлаешь, мальчишка? А вы, господа...

— Папенька? честь имѣю представить вамъ моихъ пріятелей: г. Рѣшетиловъ—авторъ «Каменнаго Сердца»; Мерцаловъ—нашъ знаменитый критикъ; Чудовъ—тоже критикъ; Лыкошинъ—переводчикъ Кальдерона и проч. [1]).

Несчастный! онъ думаетъ знаменитостью своихъ гостей смягчить гнѣвъ раздраженнаго родителя. Но родитель грозно прерываетъ его восклицаніемъ:

— Молчать! Убирайся спать, мальчишка! Прошу покорно: вино! лампы! канделябры!

Онъ подходитъ къ лампѣ, къ канделябрамъ и тушитъ ихъ. Комната остается въ подумракѣ, и только свѣча въ рукахъ старика тускло освѣщаетъ ее...

---

[1]) Въ подлинникѣ Мерцаловъ (Бѣлинскій) названъ на этой страницѣ Бѣлугинымъ, а Чудовъ (Некрасовъ)—Тросниковымъ. Лыкошинъ, весьма вѣроятно, А. И. Кронебергъ, извѣстный переводчикъ Шекспира. А можетъ быть тотъ же Н. Х. Кетчеръ, въ семейныхъ непріятностяхъ котораго весь кружокъ принималъ участіе. К. Ч.

Гости хватаютъ шляпы и гурьбой уходятъ, сопровождаемые грознымъ ворчаніемъ старика, который не соблюдаетъ разборчивости въ выраженіяхъ ни касательно ихъ, ни касательно своего сына, котораго онъ угрожаетъ просто посѣчь.

— Да и гостямъ твоимъ надо бы то же! —кричитъ онъ такъ громко, что уходящіе гости слышатъ.

Проклиная юнаго сочувствователя, гости расходятся съ хохотомъ.

Юный сочувствователь долго послѣ не показывается въ литературномъ кругу, пока, наконецъ, важная услуга Мерцалову или какая-нибудь чрезвычайная новость, ему одному извѣстная, снова не раскроетъ ему дверей туда.

V.

Такова была меньшая и не главная часть кружка литераторовъ... Но пусть не думаетъ читатель, что я намѣренъ теперь представить глазамъ его рядъ свѣтлыхъ, безукоризненныхъ портретовъ, въ примѣръ и назиданіе непишущаго человѣчества. Человѣкъ всегда человѣкъ и будетъ всегда человѣкомъ, какъ сказано въ одной глубокомысленной рецензіи... Мелкія слабости, ничтожныя побужденія, низкія чувства такъ же причастны людямъ, пишущимъ хорошія книги, какъ и людямъ, читающимъ ихъ. Какъ и самые простые смертные, они — сплетничали и злословили, хвастали и завидовали.

И сплетни ихъ были тѣмъ непростительнѣе, что они прекрасно знали и здраво судили, до какой степени такое ремесло унизительно. И тѣмъ ужаснѣе, что подъ видомъ участія къ вамъ, во имя справедливости, во имя новыхъ и свѣтлыхъ идей, они почитали своимъ правомъ вмѣшиваться въ ваши дѣла; входить въ анализъ вашей домашней жизни; безъ спроса и позволенія давать вамъ совѣты, сначала косвенные, а если вы недогадливы, то и прямые, поражавшіе и оскорблявшіе васъ грубой, непрошенной откровенностью и безцеремоннымъ прикосновеніемъ къ такимъ сторонамъ вашей жизни, даже вашего сердца, которыя и самой деликатной рукой не могли быть тронуты безъ боли и оскорбленія. И Боже мой! Къ чему приходили слабые характеры, поддававшіеся ихъ вліянію! Чему подвергались люди, благоразумно заключавшіеся въ заколдованный кругъ, куда не допускается посторонній нескромный глазъ! Ужасна была участь послѣднихъ; ихъ называли тупоголовыми, отсталыми, чуть не раскольниками; не зная ничего вѣрнаго о нихъ, сплетничали вдвое болѣе, чѣмъ о тѣхъ простодушныхъ, которые сами подали оружіе и подставляли голову; въ безсильной злобѣ изобрѣтали небывалые факты, почти

предрекали имъ разореніе, считали въ ихъ карманѣ каждую копейку; имъ писали колкіе намеки и даже выговоры отсутствующія свѣтила и, наконецъ, придирались къ маленькому лбу, неспособному вмѣщать обширнаго ума отрицали въ нихъ талантъ, не помня собственныхъ недавнихъ восхваленій, не справляясь съ общимъ мнѣніемъ.

Но положеніе первыхъ было поистинѣ еще ужаснѣе. Каждый фактъ, каждая мелочная черта ихъ жизни дѣлалась тотчасъ общимъ достояніемъ. Избави Богъ, если случалось что-нибудь съ ними особенное, не ежедневное. Люди не свѣтскіе, никуда не выѣзжающіе, рѣдко бывающіе даже въ театрѣ, они радовались, какъ празднику, такому событію и (добросовѣстно) считали своимъ долгомъ принять въ немъ участіе. Уже не одна непишущая часть кружка, но весь кружокъ до послѣдняго своего звена превращался въ самыхъ жаркихъ, безкорыстныхъ, великодушныхъ сочувствователей. Бѣдной жертвѣ сочувствія никуда невозможно было показаться.

При появленіи его дамы съ грустью, чуть не со слезами, смотрѣли ему въ глаза и потомъ медленно опускали голову.

Сочувствователи поникали головой, вздыхали, грустно пожимали плечами и были въ разговорахъ съ нимъ уступчивѣе.

Какъ только онъ уходилъ, тотчасъ проносился общій вопль сожалѣнія, такого искренняго, такого теплаго, что, случись тутъ посторонній зритель,— онъ долженъ былъ неминуемо расплакаться. Потомъ начинались толки:

— Бѣдный, бѣдный Мерцаловъ, или Балаклеевъ, или Чудовъ.—Какое несчастье такой прекрасный, умный, образованный человѣкъ—и жена его бьетъ!

— Бьетъ! бьетъ! Я самъ видѣлъ... я пришелъ къ нимъ, и онъ вышелъ ко мнѣ съ красными глазами...

— Можетъ-быть, онъ спалъ?

— Нѣтъ, нѣтъ! Какое спалъ! У него и щека одна немного припухла...

— Да чего тутъ много толковать! Я пришелъ къ нимъ; въ столовой никого нѣтъ, такъ какъ я вхожу безъ доклада, то я пошелъ дальше въ гостиную, въ дѣтскую, наконецъ вхожу въ спальню—и ужасная картина представилась моимъ глазамъ: онъ сидитъ на полу, прислонившись лицомъ къ кровати, а Наталья Карповна страшно топаетъ ногами и кричитъ: «Такъ ты не хочешь, такъ ты не хочешь?» Чего не хочешь, ужъ я не знаю, только волосы у нея были растрепаны, и лицо пылало, какъ у фуріи.

— Ахъ, несчастный?

Въ самомъ дѣлѣ, участь несчастнаго, сдѣлавшагося жертвой сочувствія, съ каждымъ днемъ становилась ужаснѣе. О немъ говорили: и «элементъ свѣтскости», и «всеобъемлющая натура», и «симпатическая натура», и «поэтъ въ душѣ»; о немъ кричалъ даже «Мальчишка», разсказывая, что самъ видѣлъ, какъ Лыкошинъ подрался при немъ со своей женой и не показывается теперь потому, что у него одинъ глазъ подбитъ. А «благородная личность», отводя въ сторону пріятеля, съ грустью шептала, качая таинственно головой:

— Мы съ женой сегодня цѣлую ночь не могли уснуть.

— А что?

— Бѣдный, бѣдный Лыкошинъ! и проч.

И «симпатическая натура», испугавшись урчанія въ желудкѣ и отказываясь пить шампанское, говорила:

— Не могу, другъ мой, не могу! Положеніе Лыкошина мучитъ меня.

— Положеніе Лыкошина, положеніе Лыкошина?—и начиналось безпокойство только о положеніи Лыкошина.

— Что же, однако-жъ?—замѣчалъ господинъ, любившій придавать всему таинственный громадный колоритъ,—отчего онъ молчитъ? Отчего онъ не хочетъ облегчить души своей, открывъ тайну своимъ друзьямъ? Надѣюсь, онъ знаетъ, что мы его друзья, что мы желаемъ ему добра и готовы сдѣлать все, что только можно. Помочь совѣтомъ, даже самымъ дѣломъ. Я пойду, я непремѣнно вызову его: пусть выскажется: на что же мы и друзья его!...

И онъ шелъ къ нему и послѣ небольшой прелюдии говорилъ ему:

— Послушай, Лыкошинъ: ты знаешь, какъ я люблю тебя...

Лицо бѣдной жертвы сочувствія покрывалось смертной блѣдностью; она усиливалась молчать, но пытливый и неотвязчивый пріятель добивался-таки своей цели. Увѣренный, что сдѣлался теперь человѣкомъ интереснымъ, онъ, не справляясь со временемъ, смѣло шелъ теперь къ мудрецамъ первой величины и сочувствователямъ, и каждому пересказывалъ тайну Лыкошина, начиная такъ:

— Ну, я былъ у него. Сцена была тяжелая. Я плакалъ. Никогда еще я не выходилъ ниоткуда съ такимъ тяжелымъ, безотраднымъ впечатлѣніемъ.

Обнадеженные его успѣхомъ и другіе начинали заходить къ несчастному. Онъ крѣпился, упорно молчалъ. Но слѣдствіе становилось все смѣлѣе и настойчивѣе, сожалѣніе дѣлалось явнымъ, намеки становились уже вовсе не двусмысленными. Въ то же время летѣли письма къ отсутствующимъ мудрецамъ

и сочувствователямъ съ подробнымъ описаніемъ драмъ бѣдственнаго положенія сочувствователя [1]).

И спустя нѣсколько дней, несчастный начиналъ получать письма двусмысленнаго щекотливаго содержанія, въ которыхъ увѣряли, что его любятъ, что онъ пользуется общимъ уваженіемъ, что никто къ нему не перемѣнился, и что если онъ вздумаетъ пріѣхать, его ждетъ самый блестящій пріемъ, и все кончалось намеками далеко не двусмысленными, и которыхъ цѣлью было — утѣшить, успокоить его!

Наконецъ, сплетня разрасталась до невѣроятныхъ размѣровъ; о ней чуть не говорили явно при самой жертвѣ сочувствія; она уже начинала дѣлаться достояніемъ лакеевъ и горничныхъ. Несчастный все видѣлъ, видѣлъ, что уже поздно скрываться, что все уже извѣстно, пріятели приставали все настойчивѣе, и подъ конецъ, въ заключеніе какого-нибудь обѣда или ужина, когда любопытство, разгоряченное шампанскимъ, становилось настойчивѣе, совершался послѣдній позорный актъ сочувствія. Несчастный, осажденный со всѣхъ сторонъ, во всеуслышаніе разсказывалъ свой позоръ.

Начинался другой періодъ,—періодъ явнаго сочувствія, совѣтовъ, безцеремоннаго вмѣшательства,—но не лучше ли мы сдѣлаемъ, если опустимъ завѣсу, которую чуть приподняли?..

VI.

Къ Мерцалову начали забѣгать каждое утро раздражаемые молвой о необыкновенномъ литературномъ явленіи. И онъ каждому охотно разсказывалъ подробности какъ о самомъ авторѣ, такъ и о произведеніи его, скрашивая свои свѣдѣнія отрывками изъ «Каменнаго Сердца», которое, какъ онъ самъ говорилъ, сдѣлалось его настольною книгою. Въ самомъ дѣлѣ онъ не выпускалъ рукописи изъ рукъ и въ разговорахъ своихъ безпрестанно цитировалъ выраженія новаго писателя, что, впрочемъ, дѣлалъ каждый разъ по прочтеніи замѣчательной книги: такъ впечатлителенъ былъ его умъ. Въ подтвержденіе своихъ похвалъ онъ читалъ и перечитывалъ передъ сочувствователями мѣста изъ «Каменнаго Сердца», и многократно-повторенное чтеніе, наконецъ, такъ притупило его вкусъ, что онъ сталъ находить превосходнымъ даже и то, что сначала находилъ недостаткомъ въ «Каменномъ Сердцѣ».

---

[1]) Эта страница подлинника написана впопыхахъ, небрежно. Послѣдняя фраза полна описокъ; нужно: «съ подробнымъ описаніемъ бѣдственнаго положенія Лыкошина». К. Ч.

— Въ этомъ удивительномъ сочиненіи,—говорилъ онъ,—нѣтъ недостатковъ. Въ немъ все строго обдумано, соображено и выполнено такъ художественно, что то, что съ перваго раза кажется какъ будто натянутымъ, не идущимъ къ дѣлу,— вглядитесь пристальнѣе, вы увидите, что недостатокъ не въ ослабленіи таланта автора, а въ вашей собственной неспособности и ограниченности обнять во всей полнотѣ и ширинѣ художественное произведеніе. Такова его глубина, что только по внимательномъ чтеніи открывается оно во всей глубинѣ и высотѣ широкаго своего содержанія... и вы увидите, что тутъ не одинъ романъ, но пять, десять, двадцать романовъ; развейте любую страницу—и выйдетъ прекрасная вещь, которая могла бы составить славу писателю съ обыкновеннымъ талантомъ.

Такихъ отзывовъ было слишкомъ достаточно, чтобы взволновать не только сочувствователей, но и литераторовъ, которыхъ мнѣніе Мерцалова не могло не расположить въ пользу новаго автора.

— Слышали, слышали? - говорилъ встрѣчному и поперечному Балаклеевъ, пробѣгая съ своей обыкновенной торопливостію по Невскому.—Въ нашей литературѣ явился новый геній. Мы съ Чудовымъ первые открыли его; я его зналъ еще въ дѣтствѣ. Мы съ нимъ пріятели. Удивительная вещь! Мерцаловъ говоритъ, что онъ не читалъ ничего лучше в жизни своей!

— Были у Мерцалова?—таинственно спрашивалъ тотъ, котораго именовали «благородною личностью», встрѣчая другого сочувствователя или литератора.

— Былъ.

— Слышали?

— Слышалъ, какъ же. Интересно прочесть.

— Новая эпоха въ русской литературѣ: такого воспроизведенія дѣйствительности еще не бывало! Мерцаловъ говоритъ, что онъ не возьметъ всей русской литературы... Въ самомъ дѣлѣ необыкновенное явленіе. Вы его знаете?

— Нѣтъ. А что?

— Жена моя очень интересуется его видѣть. Мы не спали всю ночь.

— А что? Боленъ у вас кто-нибудь?

— Нѣтъ, слава Богу, здоровы. Мы всю ночь говорили о «Каменномъ Сердце». Мерцаловъ прочелъ мнѣ одну сцену. Я разсказалъ женѣ. У нея такая впечатлительная, симпатическая натура! Не могла уснуть.

И, нагнувшись таинственно к уху сочувствователя, «благородная личность» подъ величайшимъ секретомъ передавала сочувствователю то, что уже было извѣстно всему литературному кругу.

— Ахъ, ты не повѣришь, Лыкошинъ, что я скажу!— восклицалъ сладенькимъ, протяжнымъ голосомъ «элементъ свѣтскости» своему пріятелю.

— Что такое?

— Мерцаловъ открылъ генія...

И проч.

И, встрѣчаясь между собою, сочувствователи и литераторы ни о чемъ болѣе не говорили, как о «Каменномъ Сердцѣ.

— Будете въ пятницу у Мерцалова?

— Буду. А вы?

— Какъ же! Еще бы! и проч.

Наконецъ, наступила и пятница.

Литературныя чтенія выводятся въ Петербургѣ. Теперь въ модѣ показывать пренебреженіе къ литературѣ и бѣгать съ такихъ собраній, гдѣ пронесется шопотъ, что тотъ или другой господинъ прочтетъ свою повѣсть, и лучшій способъ разогнать гостей — пустить такой слухъ. Журналисты избѣгаютъ чтеній, отговариваясь недостаткомъ времени; литераторы разъединились и рѣдко сходятся; не то, что прежде, когда существовало нѣсколько такихъ домовъ, которые какъ будто и процвѣтали единственно съ тою цѣлью, чтобъ служить пріютомъ литераторамъ, и которые поэтому назывались литературными отелями: литераторъ могъ приходить туда, когда угодно, дѣлать, что угодно: если онъ хотѣлъ ѣсть, ему хоть въ полночь начинали варить и жарить; хотѣлъ спать—ему клали подъ голову мягкую подушку и ходили около него на цыпочкахъ, разговаривали не иначе, какъ шопотомъ; хотѣлъ говорить—его слушали съ подобострастіемъ, улыбались каждому его слову, и все семейство сбивалось съ ногъ, спѣша предложить ему кто варенья, кто любимых крендельковъ и чаю, кто папиросъ.

Безъ голоса и безъ слуха ему иногда впадала мысль пѣть итальянскія аріи, и семейство слушало его съ восхищеніемъ и клялось, что не пойдетъ уже в оперу, и рассказывало потом знакомымъ, что вчера у нихъ дома была опера. Литературные сочувствователи сдѣлались рѣдки и тоже заняли у литераторовъ пренебреженіе къ чтенію. Только въ мелкихъ литературныхъ кружкахъ процвѣтаютъ еще чтенія; литераторы-дилетанты тоже до нихъ большіе охотники, не совсѣмъ, впрочемъ, безкорыстные: заманивъ литераторовъ извѣстіемъ, что у нихъ будет прочтено замѣчательное сочиненіе, они дѣйствительно уступаютъ сначала роль автору, интересующему литераторовъ, но потомъ, когда онъ кончитъ чтеніе (что случается иногда уже къ полуночи), дилетанты скромно увѣдомляютъ, что у нихъ тоже есть новинка, которую они

желали бы прочесть, чтобъ воспользоваться совѣтами такихъ избранныхъ и опытныхъ судей. И подъ видомъ совѣтовъ, которымъ не слѣдуютъ, они начинаютъ мучить литераторовъ своимъ собственнымъ произведеніемъ иногда до трехъ и до пяти часовъ ночи.

Но въ ту эпоху, къ которой относится нашъ разсказъ, чтенія литературныя процвѣтали. Причиною тому было отчасти, что Мерцаловъ, дававшій направленіе вкусамъ кружка, дѣйствительно любилъ свое дѣло, и явленіе каждаго новаго таланта составляло для него праздникъ; он носился съ нимъ, какъ съ собственнымъ дѣтищемъ, и не только разъ, но десять разъ готовъ былъ его слушать, а отчасти потому, что массу кружка составляли люди очень молодые. Въ пятницу часовъ въ семь къ Мерцалову сбѣжалось все, что принадлежало къ кружку и имѣло какое-нибудь право присутствовать. Даже явилось нѣсколько такихъ лицъ, посѣщеніемъ которыхъ Мерцаловъ былъ вовсе недоволенъ.

Тутъ былъ, говоря слогомъ модныхъ нувелистовъ, и ты, литераторъ... [1]).

VII.

Въ восемь часовъ явился Рѣшетиловъ, въ сопровожденіи маленькаго, благовиднаго господина лѣтъ двадцати семи, съ необыкновенно мягкими, плавными движеніями, обличавшими сразу тихій обязательный характеръ молодого человѣка.

Этотъ молодой человѣкъ, не литераторъ и не художникъ, представлялъ собою особенный типъ литературныхъ сочувствователей.

Роль его состояла въ сопровожденіи литературныхъ и другихъ знаменитостей, почему и называли его «Спутникомъ». Богъ знаетъ, какъ случалось, но лишь разносилась молва о новой знаменитости—онъ уже находился неотлучно при ней; былъ даже съ ней въ короткихъ отношеніяхъ, которыя, впрочемъ, имѣли странный, нѣсколько подозрительный характеръ: не дружескія и не пріятельскія, они скорѣе напоминали умилительныя отношенія скромнаго, расторопнаго и понятливаго подчиненнаго къ милостивому начальнику. И дѣйствительно, было почти такъ.

Геніальному человѣку, въ пылу торжествъ, славы и поклоненія, конечно, не могла льстить короткость съ неизвѣстнымъ маленькимъ человѣкомъ,

---

[1]) Здѣсь, къ сожалѣнію, рукопись обрывается, и изо всѣхъ лицъ, посѣтившихъ Белинскаго, въ дальнѣйшемъ описаны лишь Тургеневъ и Анненковъ; приводимъ этотъ обособленный отрывокъ. К. Ч.

но Спутникъ съ первого визита умѣлъ сдѣлаться необходимымъ ему обязательною и многостороннею услужливостію.

Каждое утро являясь къ геніальному человѣку, онъ передавалъ ему,—разумѣется, не безъ прибавленія,—все, что слышалъ вчера лестнаго о немъ и нелестнаго о соперникахъ его, посвящалъ кстати геніальнаго человѣка въ сплетни и закулистныя тайны еще мало знакомаго ему литературнаго кружка.

Прибѣгалъ къ нему немедленно съ каждымъ нумеромъ журнала и листкомъ газеты, въ которыхъ говорилось о геніальномъ человѣкѣ.

Вытверживалъ наизусть и дѣлалъ общимъ достояніемъ остроты и достопримѣчательныя изреченія геніальнаго человѣка, произнесенныя къ кругу двухъ-трехъ пріятелей.

Былъ посредникомъ между геніальнымъ человѣкомъ и тѣми, которые желали съ нимъ познакомиться, дать ему обѣдъ, равно и тѣми, у которыхъ онъ желалъ занять, и въ подобныхъ случаяхъ.

Если геніальный человѣкъ желалъ пустить въ ходъ такую мысль о своемъ сочиненіи, которую ему самому неловко было высказать, онъ сообщалъ ее Спутнику. И догадливый Спутникъ понималъ, что съ ней дѣлать.

Смѣнялъ слабаго грудью геніальнаго человѣка во время торжественныхъ чтеній, придавая своему голосу въ поэтическихъ мѣстахъ творенія (читаемаго даже въ двадцатый разъ) дрожаніе—признакъ потрясеннаго чувства.

Если читалось сочиненіе новое, восклицалъ въ извѣстныхъ мѣстахъ: «тс, тс!.. сейчасъ начнется превосходная сцена!..» И вниманіе слушателей удваивалось. И проч.

Какъ будто въ вознагражденіе столь безкорыстныхъ и многостороннихъ услугъ косвенные лучи славы, осѣнявшей чело геніальнаго человѣка, падали на Спутника, доставляя ему своего рода выгоды.

— Вы знаете, съ кѣмъ я сейчасъ шелъ?—спрашиваетъ онъ, встрѣтивъ литератора.

— Съ кѣмъ?

— Съ Рѣшетиловымъ!

— А вы съ нимъ знакомы?

— Какъ же, мы пріятели. Хотите, я приведу его къ вамъ?

— Сдѣлайте одолженіе!

— Непремѣнно. Когда же?

— Да хоть завтра.

И такимъ образомъ Спутникъ попадалъ, наконецъ, къ литератору, который зналъ его уже десять лѣтъ, но никогда не приглашалъ.

— Владимiръ Петровичъ! Владимiръ Петровичъ!—кричалъ Спутникъ журналисту, который, завидѣвъ его, опрометью бросался въ сторону.—Владимiръ Петровичъ!

— Что?—сердито спрашивалъ журналистъ, оборачиваясь, но не останавливаясь.

— Я вчера былъ у Рѣшетилова. Онъ пишетъ новую повѣсть...

Журналистъ останавливался.

— Я уговаривалъ его, чтобъ онъ отдалъ ее въ вашъ журналъ.

Журналистъ быстро подходилъ къ Спутнику и, любезно подавая ему руку, говорилъ:

— Здравствуйте! Что же онъ?

— Да не знаю еще. Хотите я поговорю...

— Сдѣлайте одолженiе.

— Съ удовольствiемъ; непремѣнно! Да я просто скажу ему: «если не отдашь повѣсти Толмачевскому, я больше не другъ твой»!

— Очень обяжете. Когда же я могу получить отвѣтъ?

— Да когда вамъ угодно; хоть завтра. Только гдѣ мы встрѣтимся?

Кончалось тѣмъ, что суровый и надменный журналистъ приглашалъ его обѣдать.

Встрѣтивъ актера, пользующегося славою (до безславныхъ актеровъ, сочинителей, журналистовъ ему не было нужды; онъ отзывался о нихъ презрительно, съ кислой гримасой), онъ спрашивалъ:

— Скоро вашъ бенефисъ?

— Да не знаю еще!—небрежно отвѣчалъ актеръ, едва удостоивая его поклономъ.—А что?

— Знаете, Рѣшетиловъ...

И начиналась та же исторiя [1]).

Словомъ, Спутникъ такъ мастерски пользовался знаменитостью своего друга, что оставалось жалѣть, почему онъ лишенъ собственной,—какъ иногда жалѣешь голоднаго бѣдняка, искусно трактующаго о размѣщенiи и употребленiи чужихъ капиталовъ. Фразы: «Мы съ Рѣшетиловымъ».—«Я вчера работалъ, вдругъ входитъ Рѣшетиловъ».—«Новость, важная новость: Рѣшетиловъ пишетъ новый романъ; я слышалъ двѣ главы: превосходно»!—«Знаете, что сказалъ Рѣшетиловъ о вашей повѣсти»—«Какой странный характеръ у

[1]) Выше зачеркнуто: «Актеру онъ обѣщалъ, что посовѣтуетъ Рѣшетилову отдать драму ему въ бенефисъ». К. Ч.

Рѣшетилова»—такія и подобныя фразы не сходили у него съ языка, доставляя ему улыбку, вниманіе, ласковый пріемъ у людей, которыхъ общества онъ добивался. А пообѣдать у журналиста или извѣстнаго литератора, пройтись съ нимъ по Невскому, или проѣхаться въ его коляскѣ, такія событія составляли свѣтлыя точки въ жизни Спутника, благоразумно сознавшаго, что ему не дано блистать собственнымъ свѣтомъ. Къ непріятнымъ и продолжительнѣйшимъ эпохамъ его жизни принадлежали тѣ, когда великій человѣкъ спивался и умиралъ, или надменно покидалъ своего преданнаго друга, или наконецъ, нисходилъ въ ряды обыкновенныхъ смертныхъ.

Въ такихъ горестныхъ случаяхъ Спутникъ мгновенно исчезалъ, оставляя въ литературномъ кругу одно воспоминаніе, столь же смутное, какъ и его личность.

Какъ случилось, что Спутникъ сблизился съ Рѣшетиловымъ, никто не зналъ; но, когда они явились вмѣстѣ, никто не удивился; всѣ какъ будто ждали такого событія и безусловно покорялись ему.

КНИГИ К. ЧУКОВСКОГО:

Некрасов. Изд. З. Гржебин (Берлин).

Некрасов как художник. Изд. «Эпоха».

Поэт и палач. Изд. «Эпоха».

Жена поэта. » »

Книга об Александре Блоке. Изд. «Эпоха».

Оскар Уайльд. Изд. «Огненный Столп».

Уот Уитмэн. 5-ое изд. «Всемирная Литература».

От Чехова до наших дней. 4-ое изд. «Солнце».

Книга о соврем. писателях. Изд. «Шиповник».

Лица и Маски. Изд. «Шиповник».

«**Крокодил**» стихи для детей, Изд. «Солнце».

«**Мойдодыр**» » » » » »

Издательство „ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА“.

Вышли в свет:

1. **А. Л. Волынский.** Четыре Евангелия.
2. **Н. Н. Евреинов.** Первобытная драма германцев.
3. **Н. А. Некрасов.** «Каменное сердце» (повесть из жизни Ф. М. Достоевского) под редакцией и со вступительной статьей К. И. Чуковского.
4. **Н. А. Некрасов.** Неизданные произведения, под редакцией и со вступительными статьями В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского.
5. **Виктор Муйжель.** Детские рассказы. (Детская библиотека «Полярной Звезды», № 2).

Печатаются:

6. **Анатоль Франс.** «Маленький Пьер», перевод М. А. Кузмина.
7. **А. Ф. Кони.** Память и внимание (Из воспоминаний судебного деятеля).
8. **А. Ю. Финн-Енотаевский.** Экономическое учение Карла Маркса.
9. **Н. Хаммарстрём.** Курре и др. рассказы, перевод со шведского Елены Благовещенской (Детская библиотека «Полярной Звезды», № 1).
10. **Барбра Ринг.** Пейк (Из жизни маленького норвежца). Перевод с норвежского Елены Благовещенской (Детская библиотека «Полярной Звезды», № 3).

Готовятся к печати:

11. **М. Е. Салтыков (Щедрин).** Неизданные письма к Некрасову и др., под редакцией и со вступительными статьями В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского.
12. **А. Горнфельд.** Федор Сологуб.
13. **К. Чуковский.** Футуристы.
14. Проф. **Е. Тарле.** Победители и побежденные (Европа после войны).
15. Проф. **И. М. Кулишер.** Денежное обращение.
16. **В. Э. Мейерхольд.** Воспоминание об Александре Блоке с приложением письма Блока к Мейерхольду.
17. **А. В. Оссовский.** А. К. Глазунов. К 40-летию композиторской деятельности.
18. **В. П. Коломийцов.** Кольцо Нибелунга. Трилогия Р. Вагнера.
19. **Д. М. Мусина и Э. А. Старк (Зигфрид).** Изадора Дункан. Личность и творчество.
20. **Чтец-декламатор.** Составил Д. О. Гликман (Дух Банко).

Склад изданий: Петроград, Думская, 5.

5-я Гос. тип.